



Kathy Acker

Pussy, King of the Pirates

©Kathy Acker, 1996  
©Татьяна Покидаева, 2004  
©Митин Журнал, 2004  
©Kolonna Publications, 2004

КИСКА,  
КОРОЛЬ ПИРАТОВ

КЭЙ АКЕР

перевод Татьяна Покидаевой



## Содержание

Прелюдия: Совсем недавно жила-была О.....	7
Пора сновидений .....	27
<i>О и Анж</i> .....	29
<i>Девчонки-пираты</i> .....	67
Пора пиратов .....	183
<i>Пиратский остров</i> .....	185
<i>Выдержки из пиратских хроник</i> .....	209
<i>Предстоящее время</i> .....	217



Прелюдия:  
Совсем недавно  
жила-была О...



### **Говорит Арто:**

Когда О была девочкой, больше всего ей хотелось, чтобы о ней позаботился мужчина.

Город из ее снов был вместилищем всех сновидений.

Город, который всегда умирал. В центре этого города когда-то повесился ее отец.

Только это неправда, думала О, потому что отца у меня не было никогда.

В снах О искала отца.

Она знала, что это глупо, потому что он мертв.

А поскольку она далеко не дура, думала О, то, наверное, она пыталась его найти, чтобы убежать из дома, в котором она жила — из дома, где всем заправляла женщина.

О пошла к частному детективу. Он называл О госпожой.

— Я ищу своего отца.

Детектив, который в одной из реальностей был другом О, сказал, что это несложный случай.

О очень понравилось, что с ней все просто.

И они приступили к работе. Первым делом, по настоянию детектива, она рассказала ему все, что знала об этой тайне. На пересказ всех подробностей у нее ушло несколько дней.

Тогда в Далласе было лето. И все пожелтело.

О не помнила ничего из того, что было в самом начале. В ее раннем детстве.

Потом, сразу после того, чего О не помнила совершенно, она помнила камни. Драгоценные камни. Когда умерла мама, открыли ее шкапулку с украшениями. Там было одно отделение, выстланное изнутри красным бархатом. О знала, что это не только шкапулка, но и мамина пизда.

О дали камень — зеленый.

О не знала, где этот камень теперь. Что с ним стало. Это и была тайна, о которой она говорила.

Детектив взялся за дело. И уже через пару дней сообщил О имя ее отца.

— Оли.

Это имя ничего для нее не значило.

— Вашего отца зовут Оли. Кроме того, он убил вашу мать.

Вполне вероятно, подумала О, как будто подумать о чем-то равнозначно тому, чтобы сразу об этом забыть и никогда больше не думать.

Детектив сообщил ей еще и другие подробности об отце: он был из Айовы, и у него в роду были датчане.

Все это могло быть и правдой, потому что О все равно не смогла бы проверить.

Когда О очнулась от своего сумасшедшего сна, она вспомнила, что мать умерла за восемь дней до Рождества. Несмотря на записку, найденную рядом с телом, в которой было подробно рассказано, где искать их домашнего белого пуделя, полицейские были уверены, что ее маму убили. Кто убил — неизвестно. А поскольку близилась праздники, полицейские вовсе не собирались искать убийцу — да и зачем им кого-то искать, когда можно спокойно отпраздновать Рождество в тесном семейном кругу.

В первый раз в жизни О поняла, что отец мог убить маму. Из всех родственников отца она знала только его двоюродного брата, пухленького коротышку, чья дочь (по его же словам) приставала ко

всяким бомжам на Бауэри, грязно их домогаясь, и он сказал О, что ее отец убил человека, забравшегося к нему на яхту.

После чего он бесследно исчез.

О стало страшно. Если отец убил маму, то он может убить и ее. Может быть, к этому все и идет.

Все это время О жила и оставалась живой только в снах. В одном из этих снов был человек — самый злой человек на свете.

Это было на модном курорте, далеко за городом: О стояла на одной из каменистых платформ или гигантских грампластинных пластинок, выступающих из огромной скалы. Скала была голой, лишь кое-где из камней пробивался кустарник. Все пластинки, кроме *верхней* и *нижней*, располагались точно одна над другой — или одна под другой, как смотреть. Та, на которой стояла О, выдавалась в пустынное небо дальше всех остальных, потому что эта пластинка была сценой.

В первом действии пьесы О узнала, что в эту землю проникло зло. Что отец, который был равнозначен злу, благополучно украл или присвоил собственность сына. Оба стояли у О за спиной. Потом отец начал мучить сына. Причинять ему боль. И еще О увидела, что старший из мужчин целится в нее сразу из трех автоматов. Это были какие-то странные автоматы. О поняла, что он хочет просто ее напугать — он не хочет ее застрелить.

Она рассмеялась. И тут же исчезла.

О ненавидела его больше, чем такое, вообще, возможно.

То ли на следующий день, то ли через несколько дней, молодая женщина занялась поисками старшего из мужчин. В этом рискованном предприятии они с его сыном стали партнерами, соучастниками; на самом деле, именно сын научил О, что для того, чтобы стать хорошим детективом, нужно избавиться от страха.

По какой-то неведомой ей причине О всегда боялась людей.

Отец оставил единственный ключ к своему местонахождению. ДН.

Никто, похоже, не знал, что значит это ДН: чьи-то инициалы, какое-то сокращение или, быть может, слово из какого-то языка, непонятного вообще никому. О с сыном считали, что ДН — это название кафе .....

Они приехали в пустынный, заброшенный городок на западе. У

кафе, которое они обнаружили в уединенном, безлюдном местечке под названием *улица* посреди выгоревшей желтизны, не было вообще никакого названия .....

Они добрались до ранчо. Главное строение, которое они не заметили поначалу, потому что оно и было неприметным, представляло собой одноэтажное здание с облупленной белой краской. Справа было кафе, как бы встроенное в стену.

Девушка во дворе кормила свою собаку лошадиной породы — потому что собака была размером с большую лошадь, — вынесла ей целое блюдо сырых гамбургеров. Раньше она была замужем за сыном; теперь она жила на этом ранчо и была счастлива.

Это был второй ключ.

И больше уже не понадобилось, потому что человек, которого она искала, шел прямо на нее. И на всем этом открытом пространстве не было никого, кроме них двоих. О поняла: все, что с ней произошло, произошло лишь потому, что ее влекло к этому человеку. К этому отцу. И она ненавидела его потому, что он был воплощением насилия.

И тогда О взялась научить его, как обратить насилие в удовольствие.

Теперь О решила, что хочет поехать туда, где еще никогда не была:

## **Говорит О:**

Революции в Китае еще лишь предстояло случиться. В то время слово *революция* ничего для нас не значило, потому что одно и то же правительство владело всем. Казалось, идти уже некуда. Все мои друзья, и я тоже, медленно умирали задолго до старости, а до того, как умереть, жили совершенно невыносимой жизнью, потому что такой и была наша жизнь. Невыносимой.

Я не интересовалась политикой.

Я приехала в Китай, как всегда: следом за парнем.

Я верила, что мы любим друг друга.

Это не важно, как назывался тот неизвестный город, куда я приехала. В Китае все неизвестные города выглядят одинаково: сплошные тупицы. Каждый город — запутанный лабиринт, сон, где улицы переплетаются с улицами, и исчезают в других

перепутанных улицах, и ни одна никуда не ведет. Потому что там нет никаких указателей. Все обозначения и знаки исчезли.

Бедняки ели все, чем умели разжиться.

Перед самой революцией китайское правительство объявило людям, что кризис миновал. Из-за этой лжи бедняки не могли отличить экономическую жизнеспособность от неспособности. Некоторые ходили по улицам, все утыканное иголками.

Многие женщины торговали собой.

В, мой приятель, сказал, что если я его люблю, я тоже должна торговать собой. Ради него. Я знала, что В возбуждают женщины, которые занимаются проституцией. Я не знала, любит ли он меня по-настоящему, и любит ли вообще. Все чаще и чаще я задавалась вопросом: почему я всегда западаю на мужиков, которым на меня наплевать.

Моя жизнь наяву проходила под властью матери, а не отца. Когда мать была жива, она меня не замечала — а когда ей приходилось меня замечать, она меня ненавидела. Она хотела, чтобы я была пустым местом или еще того хуже, потому что мое появление у нее в утробе, даже еще не на свете, стало причиной того, что ее бросил муж. Так она мне говорила, моя прелестная, восхитительно красивая, очаровательная и лживая мать. Когда была жива.

*Отсутствие* — имя не только отца.

Каждый публичный дом — это детство.

Тот, куда поместил меня В, назывался «Анж».

Ангел.

Вне публичного дома мужчины боятся красивых женщин и бегут от них без оглядки; чтобы мужчина остался с красивой женщиной, у нее должен быть шрам. Шрам, который не на теле. В этом смысле моя мать была слабой; ее слабость стала моей злой судьбой.

Зато в борделе все женщины, даже совсем не красивые, кажутся мужикам красавицами. Потому что они воплощают мужские фантазии. Таким образом, так называемый *мужской режим* на территории, именуемой *женское тело*, отделяет свое здравомыслие от фантазий.

Поскольку я оказалась единственной белой девушкой во всем борделе, все остальные, включая мадам, которая раньше была мужчиной, меня ненавидели. Например, моя вежливость и обходительность вызывали у них лишь презрительные усмешки. На

самом деле, их задевало, что я занялась проституцией вовсе не из экономической необходимости. Для них слово *любовь* ничего не значило. Но я стала шлюхой вовсе не потому, что любила В так беззаветно, что сделала бы для него все. Все, что угодно — лишь бы он тоже меня полюбил. Я уже начала понимать, что такого не будет. Он никогда меня не полюбит. Я поступила в бордель по своей собственной воле, чтобы забыть о себе, стать никем, потому что, как мне тогда представлялось, только став пустым местом, я начну видеть.

Я не ведала, что творю.

Когда я поступила в публичный дом, мадам отобрала у меня все, что было моим — даже крошечные очки для чтения. Словно тюремная надзирательница. Она сказала, что б я не думала, будто я вправе чем-то владеть лишь потому, что я белая. Например, счастье. Она сказала, что я слишком бледненькая и хрупкая, что я не вынесу здешнюю жизнь.

Другие девушки думали, что я могу уйти из публичного дома, когда мне захочется.

Но я не могла никуда уйти, потому что в борделе я стала никем. Так что некому было отсюда уйти.

Теперь я стала ребенком: если бы я отказалась от детства, от меня бы вообще ничего не осталось.

Потом девушки все-таки приняли меня как шлюху. И тогда мне захотелось влюбиться в кого-то, кто любил бы меня.

В трущобах было полно ворожей и гадалок. В свободное время шлюхи частенько ходили к таким провидицам, чтобы узнать судьбу. Вскоре я тоже стала ходить вместе с ними, но лишь за компанию с подругами — мне было страшно заговорить с этими женщинами, большинство из которых и сами когда-то всюю занимались нашим ремеслом. Я садилась куда-нибудь в уголок, где потемнее, и почти никогда ни о чем не спрашивала, потому что мне не хотелось рассказывать о себе. А когда я, в конце концов, все же спросила о будущем, я задала вопрос так, словно будущего не существует. Я себя чувствовала в безопасности, зная только подробности повседневного существования, клиенты, физиологические отправления — все, что было сном.

Как будто сны не могли быть явью.

Гадалки бродили по улицам вокруг «Анжа».

Я помню, однажды в гадании на судьбу мне выпала карта Повешенного:

Женщина, что гадала на картах, все равно продолжала дурить мне голову.

— Значит ли это, что я покончу с собой? — спросила я.

— О нет, О. Эта карта обозначает, что ты — из мертвых, которые живы. Ты — зомби.

Но я все прекрасно понимала. Я знала, что этот Повешенный — или Жерар де Нерваль, — мой отец. Каждый мужчина, с которым я трахалась — мой отец.

Мой отец был хозяином Смерти, публичного дома. Из своего царства отсутствия он обозревал все, чего не было.

Карты вполне недвусмысленно показали, что я его ненавижу. Когда весть из незримого мира приходит в мир зримый, вестником выступает чувство. Моя ярость, тот самый вестник, приведет к революции. Революции опасны для всех.

Но это было еще не самое страшное. Карты сказали нам, шлюхам, что революция, которая вот-вот начнется, обречена на провал — в силу своей изначальной природы. И когда это случится, когда верховная власть — будь то царствующая или революционная, — прекратит свое существование, когда эта власть поглотит свою голову, как змея, что пожирает себя самое, когда все упадет в нищету и упадок, но уже в другую нищету и другой упадок, все мои сны, сны, которые были мною, разобьются вдребезги.

— И тогда, — сказала гадалка, — ты окажешься на пиратском корабле.

Карты, которые я запомнила, говорили, что моя судьба — свобода.

— И что же мне делать? Что делать, когда тебя никто не любит, и вся твоя жизнь — это только свобода?

Карты продолжали предсказывать беды, болезни, несчастья...

Я пробыла в борделе месяц. В ни разу ко мне не пришел — ему всегда было на меня на плевать.

Я была шлюхой, потому что была одна.

Гадалка сказала, что я стану свободной, когда совершу путешествие в страну мертвых.

Я пыталась избавиться от одиночества, но от него можно было избавиться, только избавившись от себя самой.

## Говорит Арто:

О сказала:

— Хочу поехать туда, где я еще никогда не была.

Я жил в комнатухе в трущобах. Тогда я еще не сошел с ума.

Я был всего лишь мальчишкой. Я видел только одну. Чтобы как-то отгородиться от этой нищеты снаружи и внутри себя, я обратился к поэзии. И особенно к поэзии Жерара де Нерваля, который хотел прекратить свои собственные страдания, преобразиться, переделать себя, но вместо этого повесился на ржавом гвозде.

У меня не было жизни. Мне нравились только поэты, которые были преступниками. Я начал писать письма людям, которых не знал — этим поэтам, — но не для того, чтобы с ними общаться. Со всем для другого.

*Дорогой Жорж, писал я.*

*Только что я прочел в журнале "Fontane" две Ваши статьи о Жераре де Нервале, которые произвели на меня очень странное впечатление.*

*Я — безграничная полоса стихийных бедствий, и все эти естественные стихии были подавлены самым противоестественным образом. В этом мы очень похожи с Жераром де Нервалем, который повесился ночью на улице.*

*Самоубийство — это всего лишь протест против контроля.*

**Арто.**

Повсюду вокруг были узкие улочки. Они разбегались в разные стороны, но потом снова сходились, и все заканчивались в одном месте. Там был бордель.

Я наблюдал за мужчинами, входившими в дверь. Эти мужчины приходили в бордель вовсе не для того, чтобы вступить в половые сношения с женщинами, потому что за этим необязательно было ходить в бордель — они приходили туда, чтобы разыграть наяву свои разнузданные фантазии, которые я вам когда-нибудь опишу.

Когда в мире найдется место для простых человеческих удовольствий.

День за днем я заглядывал в окна борделя из своих окон. Так я впервые увидел О — она была голой. Я следил за ней взглядом, стараясь вырывать ее этим взглядом из всего, что ее окружало.

Ради нее я бы умер. Когда человек вешается, его член становится таким огромным, что он впервые осознает, что у него есть член.

Однажды О вышла из борделя. Я видел, как она замерла на пороге, глядя куда-то в сторону. Ей было страшно. Наконец, она нерешительно приподняла ногу и занесла ее над порогом. Я не видел, что отражалось в ее глазах. Трижды она заносила ногу и убирала ее обратно.

А когда она все-таки вышла наружу, она заметалась туда-сюда, как мечутся ветры высоко в небесах. Может быть, она вышла на улицу в первый раз, и в первый раз увидела небо. Может быть, там, в затхлом, душном борделе, О была кем-то, а теперь стала кем-то другим, пусть даже эти две разных О были и неотличимы с виду. Я видел, как эта девушка начинает дышать. Я видел, как она в первый раз сталкивается с нищетой, с этими улицами, с которыми мое тело соприкасается каждодневно. С улицами, где жили люди, которые ели все, что могли, а когда уже не могли есть, умирали.

Эти улицы напоминали О детство. Потому что, когда она была маленькой, она все время была одна. Хотя у нее и была сводная сестра, которая теперь вышла замуж за европейского миллионера, торговца оружием. Каждое лето мать отправляла О в летний лагерь, чтобы только не видеть дочь. Это был очень шикарный лагерь. Лагерь для девочек.

Каждый день, перед обедом, девочки в лагере танцевали друг с другом модные танцы, а О наблюдала за ними. Она не умела танцевать. Только в публичном доме О в первый раз в жизни ощутила себя в безопасности, потому что там не было людей.

В публичном доме она стала голой.

Теперь, когда О была в безопасности, она нашла в себе силы вернуться в детство. В нищету. Я за ней наблюдал. Я видел, как она проходила по улицам в поисках, кем ей быть дальше. И я знал, что когда О найдет, что должна найти, она будет моей.

## **Говорит О:**

Когда мы переспали с В в первый раз, я поняла, что он меня не любит. Я только не поняла, почему. Мне было больно и тошно, но даже

в этом всепоглощающем отвращении у меня все же осталась крупица веры, за которую я смогла уцепиться: я цеплялась за веру, что когда-нибудь в будущем В все-таки сможет меня полюбить.

Как ребенок, который не может поверить, что его матери на него наплевать.

Я осталась в этом борделе. И однажды В все же пришел и сказал, что хочет меня познакомить с женщиной, которую он обожает больше жизни. Для этого он заберет меня из борделя. На один день.

Они с ней много лет были вместе, еще до его встречи со мной, сказал В. Потом она его бросила. Он сам виноват: он был ее недостойн. В Китае она вернулась к нему, и теперь он попытается сделать все, что только в человеческих силах, чтобы она была с ним.

Хотя она и вернулась к нему, она пока не решила, оставаться ей с ним или нет, и поэтому он ее любит еще сильнее.

Я не знала, кто я для В, и зачем он рассказывает мне о женщине, которую боготворит.

Я могла уцепиться за свою тошнотворную боль, за свое отвращение. Может быть, отвращение — это уже кое-что. Мужское тело. Я пошла за ним из борделя. По тем самым улицам, которые уже начала исследовать самостоятельно.

По небу летела птица.

Его подруга была такая же белая, как и я. Но она была красивая и богатая. Уже в первый миг нашей встречи я поняла, что меня для нее не существует — как не существует меня и для В, — что она не умеет любить. Она была из породы собственников. Она не была пустым местом.

Я могла бы любить В, а она никогда бы не смогла. Но что было нужно ему самому? Я могла бы ему отдать все — но ему это нужно?

После обеда В отвел нас со своей подругой обратно в бордель и привязал меня к кровати. Я не могла даже закрыть глаза, потому что под нижние веки мне воткнули иголки. И у меня на глазах В занялся с ней любовью. Сперва он ласкал ее пальцами. Нежно поигрывал ее срамными губами. Из бледно розовых они превратились в кроваво-красные. Открылись моему взгляду, когда он убрал руку. Он запустил пальцы ей в рот. Наклонил ее, а потом развернулся — ее пизда так обильно сочилась, что я видела капли даже на кончиках его пальцев, — и вставил свой член, о котором были все мои помыслы, в эту пизду, что раскрылась ему навстречу в сладостном предвкушении,

умоляя о наслаждении, пусть даже она его и не любила, но он трахал ее протыкал пробивал пропарывал проминал пронзал, и все оборачивалось наслаждением, тело — это наслаждение, я тоже когда-то знала наслаждение, я вижу его теперь, бесконечное наслаждение, вот оно — снова и снова, прямо передо мной, — наслаждение, которое я познала когда-то, и в котором теперь мне отказано.

Откуда ей, богачке, было знать, что для меня наслаждение, и поэтому я изменилась.

Во время обеда и потом, когда они занимались сексом, а меня вынуждали на это смотреть — хотя я все равно бы смотрела, даже если б никто меня не заставлял, — у меня на губах была та же алая помада, которой красилась моя мать. Моя мать ходила по дому голой и возбуждала себя руками. Она мазала губы своей менструальной кровью. У нее в доме не было мужчин, потому что мой отец бросил ее еще до моего рождения.

Я тебя никогда не знала, и поэтому каждый мужчина, с которым я ебусь, это ты. Папа. Ты — каждый хуй, проникающий в мою пизду, а она — именно потому, что я тебя никогда не знала, — это река под названием Коцит, река плача. Я уже говорила, что скажу только правду: Когда ты, величайший герой-любовник, ты, единственный в мире ебарь — уж я-то знаю, потому что обязана жить ради секса, и не обязана ради него умереть, — когда ты исчез, испарился, ушел, удрал, когда ты съебался еще до моего рождения, ты не просто меня бросил, ты меня выбросил, а ведь я еще даже не родилась, в этот совсем другой мир.

Имя этому миру — Китай.

Кто сумеет понять несметные толпы Китая, его детей, его марширующих солдат-студентов?

## **Арто переписывает свое первое письмо Жоржу Ле Бретону<sup>1</sup>**

*Я — существо страстное и неистовое, во мне — свирепые бури и прочие губительные явления. Пока у меня получается лишь начинать это письмо, начинать его снова и снова, ведь*

---

<sup>1</sup>Письмо Жоржу Ле Бретону о Жераре де Нервале Антонен Арто написал в психиатрической лечебнице Родез 7 марта 1946 года. — *Здесь и далее примечания переводчика.*

чтобы писать, мне приходится пожирать себя, мое тело — это единственная моя пища. Но я не хочу говорить о себе. Я хочу обсудить Жерара де Нерваля. Он создал жизнь: живой мир. Он создал живой мир из мифа и магии. Царство мифа и магии, с которым он соприкасался, это царство Похорон. Его собственной смерти и собственных похорон.

*Я еще расскажу о смерти, о своей смерти. Потом.*

Карта Таро в царстве Нерваля — Повешенный. Пог тем же знаком Хайдеггер изменил свои взгляды на прямо противоположные и отвернулся от Гитлера. Пытаясь «найти для себя оправдание своему прошлому... в нацистском движении», он объяснял, что «сама возможность проявить себя в действии» или «воля к власти и могуществу» есть «тот же первородный грех, и в этом смысле он тоже не без греха». Вместо Dasein, существования, он сделал акцент на Sein, то есть, на бытии вообще, или, по сути, на благоговейной созерцательности, которая может открыть и оставить открытой возможность для зарождения нового язычества, где просто не будет места для неограниченной власти — то есть, уже никакая власть не восстанет из праха недоношенной гитлеровской революции.

Благоговейная созерцательность в царстве Нерваля — это Повешенный. Созерцательность — это когда созерцающий выворачивается наизнанку, изменяет свое изначальное направление на прямо противоположное и углубляется в страну мертвых, оставаясь при этом живым. Созерцательность можно принять за бездействие, недеяние. Иными словами, для меня карта Повешенного олицетворяет пусть незначительную, но возможность, что это общество, в котором личность определяется тем, чем владеет она, а не тем, что владеет ею, что это общество, в котором я живу, все-таки сможет измениться.

Жерар де Нерваль был странником, погружающимся в забвение, и, погружаясь в забвение, он писал забвению вопреки. Он ненавидел свой член; трижды он погружался в Коцита<sup>1</sup>, в забвение, пока его раскровавленный член не закачался на этих водах. Иными словами, он повесился.

---

<sup>1</sup> Аллюзия на стихотворение Жерара де Нерваля «Антэрос»: «Я ими погружен был трижды в глубь Коцита...» (перевод Ю. Денисова)

### **Говорит О:**

День за днем я бродила на улицах в поисках В, которого мне уже никогда не найти.

### **Письмо продолжается:**

*Я — тот Жерар де Нерваль, который повесился в полночь в четверг. Другой умер в Париже или объявил, что его смерть уже близко — что в скором времени он умрет от одиночества.*

*Я, Жерар де Нерваль, который пишет наперекор утилитарной концепции мироздания, очень скоро повешусь на завязке от фартука, прикрепленной к решетке. И ничего не останется.*

*Сейчас я, Жерар де Нерваль, хотел бы поговорить о разнице между повешением и Повешенным:*

*Я, Антонен Арто, повесился и не умер.*

*Я живу в трущобах в Китае и собираюсь познать секс.*

### **Говорит О:**

Если рядом нет В, я не хочу быть шлюхой.

### **Говорит Арто:**

Я вошел в бордель, чтобы встретиться с О. Мадам остановила меня и спросила, куда я иду. Я сказал, что иду служить О.

Она сказала, что сперва я должен отдать ей деньги, и только тогда я смогу быть с О. Денег у меня не было, меня вышвырнули на улицу.

Я оказался на рынке, где все продавалось и все покупалось. У некоторых обретавшихся там бедняков не было ни рук, ни ног. Другие всю торговали собой за деньги и были согласны на все. Я слышал, о чем говорили дети: что треть из них не доживет до зимы, если в этом году не уродятся бобы. Я решил, что я должен остановить этот ад, в котором живу.

Я знал, почему меня вышвырнули из публичного дома: потому что я отказался дать деньги О.

Я хотел, чтобы О меня любила.

Они не признали мою сексуальность, и тем самым посеяли зерна бунта, во мне. В этих трущобах есть и другие женщины и мужчины. Такие, как я. Которые сделают все, чтобы все изменить.

### **Говорит О:**

Я уже не хочу быть шлюхой.

### **Говорит Арто:**

Как раз в это время революционеры, и мужчины, и женщины, встретились под щербатой луной, почти не дававшей света.

— Мы бедные, — говорили они. — Но нам надо раздобыть оружие.

— Один белый как раз дал нам денег на оружие, наверное, чтобы спасти свою шкуру.

Хотя меня мало интересовало оружие, я согласился заняться поставками автоматов — предприятие опасное, по меньшей мере, — потому что за это мне обещали денег. Ровно столько, сколько мне было нужно, чтобы выкупить О из борделя и дать ей свободу.

Таким образом, я отрезал свой член, и кровь потекла у меня из сердца, о котором я даже не знал.

### **Говорит О:**

Оно когда-нибудь кончится, это царствие мазохизма?

### **Этот вариант своего письма Арто адресует О:**

*Нерваль постоянно носил при себе засаленную завязку от фартука, который когда-то принадлежал царице Савской. Он мне сам так сказал, Нерваль. Или это был шнурок от корсета мадам де Ментенон. Или Маргариты Валуа.*

*На этой завязке от фартука он и повесился, закрепив ее на решетке. Эта решетка — черная, поломанная, вся в собачьем дерьме, — располагалась у подножия каменной лестницы, что вела к рю де ла Тьюри. С этой площадки было очень удобно броситься вниз.*

*Когда Нерваль повис, раскачиваясь, над ним воспарил ворон. Ворон как будто уселся ему на голову, и все каркал и каркал: «Хочу пить, хочу пить».*

*Может быть, старая птица просто не знала других слов.*

*Я, Антонен Арто, сделался собственником, потому что теперь я владею языком самоубийства.*

*Почему Жерар де Нерваль повесился на завязке от фартука, как на открытой струне? Почему это общество, то есть, Китай, безумно?*

*Чтобы понять, почему Жерар в своем безумстве покончил с собой, я войду к нему в душу:*

*Жерар был таким же, как я. Он писал:*

*... le dernier, vaicu par tan genie, (Jehovah)  
Qui, du fond des enfers, crieit: "O tyrannie!"<sup>1</sup>*

*Жерар был le dernier, последним, потому что, когда он писал эти строки, он уже собирался покончить с собой, это была его предсмертная записка, обращенная к Богу-Тирану, само существование которого ввергало Жерара в ад. Таким образом, Жерар совершил самоубийство из-за присутствия Бога: Жерар отсек себе голову и тем воспротивился Богу-тирану. Ибо Бог — это и есть голова, le genie. Он отсек себе голову завязкой от женского фартука, и сам сделался женщиной, потому что теперь у него дыра промеж рук. Душа каждого — это ничто. Душа Жерара де Нерваля научила меня, что ничто — это бездна ужаса, из которой сознание всегда пробуждается, как от кошмарного сна, чтобы обратиться во что-то и сделаться сущей.*

*Дыра в человеческом теле, которую приходится сглатывать каждому мужчине — но не женщине, — включая Жерара де Нерваля и меня самого, это бездна рта.*

---

<sup>1</sup> Ты, Яхве, победил того, кто неустанно  
Кричал средь адский бездн: «Проклятье вам, тираны!»  
(перевод Ю.Денисова)

*Я нашел этот язык, вот почему я могу написать тебе это письмо, О. Понимаешь, Жерар, который тоже был голым, таким же голым, как ты, дал мне этот язык, что не лжет, потому что он бьет струей из дыры в его теле.*

*Ты обнажена, и поэтому я знаю: у тебя есть тело.*

*Когда Жерар отсек себе голову, он вывернул себя наизнанку, и все, что было у него внутри, стало снаружи: сегодня все, что раньше было внутри, выходит вовне, и это я называю революцией, а люди-дыры – вожди этой революции.*

*Мне выпало знать Жерара де Нерваля, и он был настоящим революционером и до, и после того, как повесился на завязке от фартука. Он повесился на женской завязке в знак протеста против политического контроля. Самоубийство – это всего лишь протест против контроля. Я повторяю еще раз. Когда он кастрировал себя, из него хлынул язык.*

*Теперь я – Жерар де Нерваль после самокастрации, потому что сознание в форме языка теперь течет из меня, и причиняет мне боль, и поэтому я могу быть с тобой. Ты будешь моей, О.*

## **Говорит О:**

Теперь я уже знала, что В никогда не вернется ко мне и не заберет меня из борделя.

Знать, что он никогда меня не полюбит – это равносильно тому, чтобы знать, что он никогда меня не любил.

Я уже не была в безопасности, и поэтому заболела. Я едва не умерла.

Как раз в это время студенты-революционеры, вооруженные более профессионально, чем полицейские, что пытались их остановить, ворвались в английское посольство, недалеко от трущоб. Несмотря на то, что многие из них были ранены и убиты, они успешно сровняли административное здание с землей.

Потом, когда я выздоровела, я узнала, что В был одним из совладельцев борделя. Я всегда знала, что он богат. Меня уже не волновали его чувства ко мне. Теперь мне хотелось лишь одного: чтобы его не было рядом.

Я хотела, чтобы В не было рядом: я не хотела, чтобы что-то менялось.

В первом дал террористам деньги на закупку оружия. Может быть, он и сам не знал, почему. Может быть, в нем изначально была заложена эта потребность — подрывать и разрушать. Я не знала В и не знаю. Может быть, после успешного нападения революционеров на англичан, он испугался. *Впервые в жизни* он понял, что быть богатым и белым — значит быть уязвимым. Поэтому, когда те же революционеры вернулись к нему с просьбой дать еще денег, он им отказал.

Они стали его избивать. Они его чуть не убили.

Когда я об этом узнала, я перестала ненавидеть В за то, что он не ответил на мою любовь.

Перед тем, как взорвали английское посольство, была перестрелка, и парня, который достал революционером оружие, ранили в руку.

Сжимая в другой руке деньги, которые он заработал на поставке оружия террористам, он вошел в бордель. Он разыскал мадам и отдал ей деньги — столько, сколько она за меня запросила.

Я и не знала, что мне купили свободу.

Арто сказал мне из-за двери, что он вернулся за мной.

— Я еще болею. Я никого не хочу видеть.

Он вломился ко мне в комнату, и я его ударила. Он упал на пол, прямо на сломанную руку. Когда он вскрикнул, я удивилась.

— Ты же всего лишь мальчишка, где ты так покалечился?

Его рука была вывернута под невозможным углом.

Теперь я поняла, что есть люди, которым больше, чем мне. Я нагнулась к нему, приподняла и втащила на свои бедра, насколько хватило сил. Я просто хотела с ним трахнуться. Боль была для него в те минуты — то же самое, что удовольствие от секса. А для меня каждая часть моего тела стала разверстой дырой; и поэтому каждая часть его тела могла сделать со мной, что угодно — могла сделать и делала.

Нас изумляли наши тела.

### **Арто переписывает свое письмо:**

*Когда я увидел О, мне захотелось ее защитить, потому что она боготворила свою пизду.*

## Говорит О:

Я больше уже никогда не видела Арто.

Лишившись сил — и не только из-за того, что его избили, но еще и потому, что его богатая подруга все-таки от него ушла, — В начал сходить с ума.

Он узнал, что мы с этим мальчиком полюбили друг друга. Он начал преследовать Арто по улицам в гуще трупп, что теперь провозили революционерами, которых становилось все больше и больше, и по проулкам, ведущим в тупик. В одном из этих проулков он выстрелил в юного поэта и бросил его умирать.

В то время на улицах было так много мертвых, что убийство уже не считалось убийством.

Когда я об этом услышала, мне было уже все равно, что теперь будет с В. Я ушла из публичного дома. Для меня в мире уже не осталось мужчин.

Я искала отца, во сне, а нашла юного безумца, которого потом убили.

Я подошла к краю нового мира.

ЛОРА  
СНОВИДЕНІЙ



## НАКАНУНЕ ПОРЫ СНОВИДЕНИЙ

О, женщина и еврейка. Родители ее отца эмигрировали из Испании, сначала в Марокко, а оттуда — в Алжир.

С экономической точки зрения, в то время выбор у женщины был небогатый: либо ты чья-то жена, либо шлюха...

О:

- Я не знаю, с чего начать.
- Что начать?
- Конец света. А все остальное не стоит и начинать.

О, поскольку она была шлюхой, блудницей, пришлось докопаться до самых истоков блуда:

Александра, одна из подруг Клеопатры, так сильно любила ее, Клеопатру, что пыталась внушить Антонию, чтобы он был заботлив и ласков с детьми возлюбленной.

Чтобы угодить Александре, первой царевне, Ирод Великий отдал своего семнадцатилетнего сына в священники. Это был очень красивый мальчик. Ирод его утопил.

От этой Александрии не осталось уже ничего.

О помнила слова поэта, что Александрия — это город отшельников и пророков, город для тех, кто тоскует, кто болен и кто одинок. Для всех, глубоко уязвленных в своей сексуальности. Когда О приехала в Александрию, тамошний воздух оказался сухим и ломким, как крылышки насекомых. И там не было ни отшельников, ни пророков-мужчин. Потому что отшельники и пророки бывают лишь в белом мире, а этот мир умер.

Вот оно, подумала О, сердце всей проституции.

О стало грезиться, что она оказалась в борделе, который искала. Она еще нигде не была. Она уже прошла мимо «Борделя девственниц».

О:

Я пришла в самый известный в Александрии публичный дом.

Вот имена некоторых из шлюх:

Шлюха № 1, Анж, двадцати одного года отроду, взрослая, политически грамотная, профессиональная выдумщица и фантазерка, в общении может быть милой и ласковой, но только с маленькими детьми или же с теми (мужчинами, женщинами, прочими категориями, оседлыми, полуоседлыми и кочевниками), кто равнодушен к деньгам. Анж свято верит в прогресс в этой стране.

**Я НЕ МОГЛА ЕЕ ЗАБЫТЬ.**

Два года назад ее бросили в тюрьму в М ——. Все такая же светлая, великодушная, добрая, там она сломалась. Я видела эти страшные синяки у нее на теле.

Так, в дерьме, начинается новый мир.

Шлюха № 2, Барбара, в свое время уехала из Египта во Францию, чтобы продолжить образование. Она изучала античность. Через несколько дней после приезда в Марсель она с ужасом осознала, что ей так или иначе придется делать все, что придется, чтобы здесь выжить, и поэтому она вернулась к своим ночным заработкам. Я вот о чем говорю: для того, чтобы заслужить право на образование в

западном мире, шлюхам, попавшим сюда из другого мира, приходилось не только упорно учиться жизни, но и бороться за жизнь.

— Вы мудачье, — говорила Барбара. Наконец, когда ее уже стало тошнить от блядства, она устроилась на работу на верфях «Полуночного моря». Каждый божий день она вставала в четыре утра — чтобы заслужить право на образование, — шла на работу и вкалывала, как проклятая. Она случайно попала ногой в машину, и ей отрезало правую ступню; но, несмотря на это, или, может, как раз поэтому, она впредь всегда, по возможности, помогала — ошутимо и действенно, — людям, чье социальное происхождение называлось *Мучение*. Мучение из-за жизни в изгнании. Изгнание, у которого есть и другое имя, *Запоздавшая Смерть* — вот судьба всех, кто живет в царстве расизма.

Барбара, теперь известная как Святая Барбара, снова живет в александрийском борделе.

Шлюха № 3. Она вечно спит. Ее зовут Луиза Ванаан де Ворингем<sup>1</sup>. Пока она спит, у нее в комнате надрывается магнитофон. Не то чтобы она была против музыки. Просто она выматывается на работе, и ей надо как следует выспаться.

Но когда-нибудь ей пришлось бы проснуться, и однажды она проснулась. Потому что само ее тело хотело проснуться. Луиза Ванаан поднялась с кровати и первым делом направилась к магнитофону, источнику музыки. Ее внезапно швырнули на землю и с силой ударили в левый глаз. Один сосед, из живущих вокруг борделя бессчетных алжирцев армян бедуинов египтян вьетнамцев, услышал крики, сразу понял, что что-то не так, схватил пистолет и примчался в бордель. *В целях самозащиты*, с помощью этого самого соседа, она отрезала насильнику яйца. Рана оказалась смертельной.

По этой причине сестру Луизу осудили за преднамеренное убийство. Вот эта причина: она была арабкой, а ее насильник был белым. Поскольку к ней в тюрьму никого не пускали, кроме самой близкой родни, а родня жила далеко, Луиза Ванаан провела в одиночестве много лет.

Ее семья была бедной.

---

<sup>1</sup> Адресат стихотворения Артюра Рембо «Молитва» из цикла «Озарения»

В тюрьме шлюха Луиза Ванаан начала грезить о революции, о *революции шлюх*, о революции, которая определялась любыми способами, лишь бы только они были предельно далекими от наживы.

Помимо прочего, вот что писала Луиза сестрам:

«Это страницы пропахли женщинами.

Во время секса у меня обостряется восприятие. Все эти губы, все кулаки: чтобы увидеть все это, и все вообще, следует тренировать себя ежедневно. В борделе, где женщины разговаривают друг с другом, где женщины вместе готовят, рука к руке, губы к губам: там все — дружелюбие и покой».

«В этих комнатах сновидений и сна, — продолжала Луиза Ванаан в другом письме — из тех писем, что станут известны миру, когда история уснет, — мы будем бродить, задевая друг друга, прикасаясь друг к другу, но не притрагиваясь друг к другу на самом деле. Там мы с радостью примем любого, даже плоть, что насквозь буржуазна, плоть, которой не нравится делать самой, а нравится быть лишь объектом чужих действий — плоть как предмет вожделения».

Из мыслей, изложенных в этих письмах, Святая Барбара вывела свою политическую теорию религии: Всякая революция начинается либо в церкви, либо в месте, которое заменяет церковь, потому что в церквях и борделях нет окон, что выходят наружу, во внешний мир. Поэтому там и находят убежище все, потерпевшие крушение.

Тебе, Барбара, я желаю: держись. Держитесь все вы, великодушные, щедрые обительницы страны Проституции.

Анж, Святая Барбара, Луиза Ванаан де Ворингем и все остальные шлюхи из борделя узнали, что если язык и слова, чьи значения кажутся определенными, растворить в содержании жестов и криков, которые в силу своей природы суть более тонкие средства для выражения непосредственных, интуитивных переживаний, тогда смысловая весомость всех господствующих политических, социальных и религиозных выразительных средств окажется под вопросом. Сделается сомнительной. И, наконец, ее просто не станет.

Смысловая весомость культуры: она делается сомнительной, а потом ее просто не станет.

— В последнее время я так устаю, — жаловалась Лулу, еще одна проститутка, — что меня уже больше ничто не заводит.

Анж на это ответила:

— Такая у нас, проститутки, судьба.

Лулу с Анж решили подрочить, чтобы был повод жить дальше.

Лулу, начиная дрочить:

— Нет, ничего у меня не выходит. Мысли совсем о другом. —

По прошествии какого-то времени: — Нет. Не сейчас.

Анж, которая тоже пыталась себя возбудить, глухо пробормотала:

— И меня что-то не получается.

Лулу:

— И вот мы вступаем в ночь.

Войти в ночь — все равно, что войти в комнату. Войти в эту узкую дверь, окинуть комнату беглым взглядом. В коридоре — бледно зеленые стены. Гораздо бледнее, чем стены комнат из детства.

Лулу:

— Вон там туалет. Нет, мне не хочется в туалет. Ну, давай, открывай дверь и входи. Осторожно, бочком — в сторонку... Почему я вообще ничего не чувствую?

Для того чтобы жить дальше, Лулу было необходимо пребывать в царстве секса.

Лулу:

— Говори, тело.

— Когда я мастурбирую, мое тело говорит: Вот — подъем. С глубины на поверхность. Вся поверхность волнуется, весь океан, пелена, отливающая металлом, волна за волной. Когда *оно* (что *оно*?) поднимается из глубины наверх, словно к горлышку вазы со дна, *оно* вдавливается внутрь себя, проникает в себя и вместе с тем обостряет свою восприимчивость, свою чувствительность. Верхний край вазы — он круглый. Он такой чуткий, такой восприимчивый, что все ощущения, движущиеся по кругу, и вообще все, что движется, теперь превращается в музыку.

— Музыка — мой пейзаж.

— В глубине, у самого дна. Оно так глубоко, это дно, что оно простирается... Докуда? Оно открывает себя — кому? Оно раскрывается только навстречу *чувствительности*. Ощущение — вот настоящий любовник.

— Если бы я сумела спуститься туда, упасть в эту кроличью нору, я бы только кончала... кончала бы и кончала... бесконечно...

— Бесконечно...

— Я хочу только кончать, и кончать, и кончать...

— ...почему?..

— В основном, за чувствительность отвечает такое колечко посередине влагалища, и сейчас оно скользит вниз. Если тоннель, по которому скользит колечко, вдруг затвердеет, то вся чувствительность пропадет. *А когда нет чувствительности — нет вообще ничего.* Если этот тоннель отвердеет, тогда вообще ничего не будет. Я должна сотворить свой мир из ничего. Надо расслабиться... расслабление открывает пространство, но я никак не могу решиться... меня что-то удерживает... чтобы стать розой, мне надо раскрыться. Но я боюсь. Бутон раскрывается и раскрывается, пока плоть не становится оголенным нервом. Вот он, ритм... я опять закрываюсь (затвердеваю)... вот он, ритм лабиринта.

— Дрожь (наслаждение) завладевает телом. Теперь любое желание остановиться ..... да, вот *она*; *она* исчезает, и исчезновение рождает смех. Смех — это порог, вступить на который так просто.

— Но как только я переступила порог, я в первый раз в жизни дала себе волю и стала играть; я начала раскрываться — я раскрывалась и раскрывалась, пока все мое существо не обратилось в сплошной оголенный нерв.

— В царстве сплошных оголенных нервов, прикоснуться к чему-то — значит ощутить прикосновение к себе: тело, разум и чувства — все расслабляется и воцаряется чистое ощущение. Когда я кончила, спазмы прошли по всему тоннелю, до самого дна, где было отверстие вовне. А потом все исчезло; и мир стал еще сексуальнее.

— Моя щель раскрылась в единственный выход вовне: дрожь усилилась.

— Уже очень скоро в этом мире не будет вообще ничего, кроме чистейшего наслаждения, в мире, где мы живем, и где каждый — не более чем сгусток желания все более и более пронзительной радости.

— Теперь мне хочется большего, я хочу себе все розы мира, все разом, но вечно мне что-то мешает. Вновь и вновь. Какой-то зверь. Он всегда возвращается: звериный коготь.

Так Лулу вошла в лабиринт.

Теперь она знала, как это делается, и научила всех остальных, и шлюхи в борделе начали мастурбировать регулярно.

Лулу:

— Теперь я хотела бы поговорить о том, как мне стать преступницей, потому что я больше не вижу смысла ни в чем другом.

\* \* \*

Анж сказала Лулу:

— Сегодня я собиралась кончить за чтением порнографии.

— Я взяла первую попавшуюся книгу и открыла ее наугад. Я собиралась прочесть всего пару фраз, просто чтобы у меня там намкнуло, и диддо легче вошел во влагалище. Но первое же предложение, которое я прочитала — там было про женщину, очень красивую, зрелую женщину, и она совращала совсем молоденького мальчика, который был так возбужден, что кончил бы, даже если б она вообще ничего не делала. Это предложение так меня возбудило, что я уже не могла оставаться на грани текста, мне захотелось войти в него, войти в эти слова, и это вхождение — пока я сидела с диддо, вставленным в пизду; наверное, со стороны это смотрелось противно и безобразно, — так вот, это вхождение было словно движение по коридорам, с этими стенами, сотканными из моей нарастающей сексуальной энергии. Я оказалась в пространстве, которое не было моим телом...

— Я пребывала в пространстве, не в теле.

— У меня в пизде живет крошечное существо. Зверек вроде рыбки, но млекопитающий. Помесь сомика, кошки и ласки. Этот зверек голодный. Он высовывает язычок...

— И я кончаю без речи, без языка.

— Теперь вся моя пизда — этот зверек, голодный и жадный. Он хочет есть все больше: рот открывается шире, клитор — розовый язычок, который лижет, лакает, он стучится вовне, стучит, как будто ногой по полу. Над язычком — два глаза. Все мои ощущения — это небо. Я уже не могла говорить. И когда я умолкла, все вокруг стало белым, и волны, что приближались медленно, неуклонно и неотвратимо, сплошной стеной, превратились сперва в мою кровь, а потом — в кости; ритмы моего тела, что были внутри, теперь стали

снаружи. Таково значение *мантры*. Последний оргазм совершится, когда мой мозг сотворит мантру.

Лулу сказала Анж:

— Я вымажу спермой весь мир.

И вот они все же настали — дни, когда началось счастье, когда была только сухость, и жар, и выжженная желтизна. Когда нижняя часть ости выходила из берегов тела:

— Нет, — воскликнула одна из шлюх, — сегодня я дрочить не буду, потому что внутри у меня, у меня в пизде, где бездонный колодец, все льется наружу, словно зверек выползает из норки, и я выворачиваюсь наизнанку. Мне страшно. Мне страшно... что если зверек выберется наружу... бог знает, что тогда будет... Я уже не смогу остановиться, я буду кончать и кончать, и это будет совсем другой мир.

— Я только не знаю, смогу ли я обойтись без того наслаждения, что дает мастурбация — пусть даже всего один день.

Святая Барбара стала первой, пославшей клиента на хуй, чтобы ей не мешали дрочить:

— Ты, старый, вонючий и мерзкий муж, сводящий в могилу жен, — в Александрии это было обычное прозвище для мужей, — убери свой поганый язык, годный только на то, чтобы лизать пизду, Аззефоний. Кажется, ты собираешься совершить путешествие по морям Европы?

— Собираюсь, — ответил ей Аззефоний.

— Так вот, эти воды воняют пизденками женщин, которые не мастурбируют, и там еще водятся странные рыбы, от которых бывает понос, а наши влагалища, О Легба, Элегба да Фламбо, Ла Си-рен, О Легба, Который Воистину Есть Все Мы, наши влагалища сделаны из рубинов и света солнца. Мы сами произвели их на свет — в преддверии конца света. Наши влагалища — это кинжалы у нас в руках, и внутри наших бедер становится все темнее.

— Войди внутрь, войди внутрь.

Аззефоний, который любил белых женщин, уехал в Европу.

Избавившись от клиентов, шлюхи, теперь оставшиеся одни, извергали кусочки чернил, слова, воплотившиеся в чернилах, соблазнительные или грязные слова, слова, составленные из руб-

цов и ран, большей частью — от сексуальных жестокостей, большей частью — из детства. Раны были у всех — метки детства. И поэтому все слова были апокалипсическими и апострофическими, знаки препинания — как разъемы, разъемы и врезки в различные части тела или в различные части мира, и всему назначалась цена, но, в конце концов, цифры и числа теряли смысл, и исчезали, вытесняемые ветрами:

Ventre, vente, vent<sup>1</sup>.

Это были лишь некоторые фрагменты из сочинений шлюх: все-го не назвать никогда, потому что и слово, и личность, шлюха, всегда терялись — ибо теперь их ебли только ветры.

(КОНЕЦ ПЕРВОЙ ПЕСНИ ШЛЮХ)

**Тайные соглашения Типовой договор №2 Главная служба безопасности**

**Учетная карточка общего типа**

**Биография**

Тройное имя: Азиз Салих Ахмад

Дата рождения: (пропуск)

Род занятий: боец народной армии

Специализация: Насилие над женщинами

Репортаж в прессе:

Похоже, что в каждой более-менее крупной тюрьме есть своя особая комната для изнасилований (часто увешанная картинками с изображением сцен мягкого «порно»).

...в женском отделении городской тюрьмы в Джувейде есть специальная камера, которую там называют «камерой прелюбодеяния». У полицейских, патрулирующих городские улицы, есть право задерживать молодых незамужних женщин, если их застают в компании мужчин, не являющихся их родственниками. Парочку препровождают к врачу, который должен установить, девственница задержанная или нет.

---

<sup>1</sup> Чрево, продажа, ветер (*фр.*)

Если она не девственница, об этом немедленно сообщают обеим семьям. Семьи вступают в переговоры о свадьбе. Если молодой человек не хочет жениться на женщине, с которой его застали, их обоих отправляют в тюрьму. Через два месяца молодого человека выпускают. Но женщина остается в тюрьме на весь срок, положенный по приговору, и еще сверх того.

Половина женщин из камеры прелюбодеяния даже не знают своего конкретного срока. Некоторые пробыли там более пяти лет; они остаются по собственной воле, ища защиты от гнева семьи. Если в первый же день на свободе девушку застрелит или прирежет кто-то из членов семьи, полиция за это не отвечает.

С целью как-то облегчить тяжелую ситуацию, полиция ищет мужчин, которые согласятся взять в жены женщин, отбывающих срок. Но находит либо немощных стариков, которым хочется напоследок насладиться жизнью, либо сутенеров.

От этого древнего мира почти ничего не останется.

Теперь О стала мастурбировать постоянно, представляя себе моряков, кошек, члены, влажные волоски на мошонках...

О:

— ...и все это — пока мастурбирую. И это еще не предел. Можно зайти еще дальше.

— Моряки, которые были пиратами, путешествие в небытие или в *мир распутившейся розы*:

— Я — мужчина. Я держал ее голову руками. Она вставила палец мне в задний проход, и вращала его у меня внутри, и все, что было текучим, текло. Все соки хлынули к центру, к моей мошонке, к двум черным сферам.

— Ее палец входит все глубже, и давление жидких секретов растет. Сейчас они выплеснутся из меня в ее дыру.

— Вот оно начинается снова ощущение глубоко-глубоко внизу пусть оно и остается там глубоко внизу где открылся проход вовне иначе

оно, или все, или я остановимся и перестанем быть. Самое главное, что мешает — это отвердевание всего. Вот то нужно предотвращать в первую очередь.

— *Карта отвердевания*: остановившийся мир. Больше нет никаких ощущений. Что я сделала не так? Или что пошло не так?

— Чувство или ощущение исчезает, когда ощущающий — здесь субъект равнозначен объекту, — пытается осознать и понять отдельное чувство или ощущение.

— Но это уже не имеет смысла, потому что я чувствую слишком остро. Что-то чувствовать — это уже означает чувствовать слишком остро.

— Все кончено. Мир остановился. Потом — еще один цикл ощущений, как волна, что вздымается следом за отступившей волной. И каждая следующая волна — выше и яростнее предыдущей.

— Я думаю о нем. Всякая мысль, всякое размышление, что пребывают вне чувства, вне пространства, где субъект равнозначен объекту, ведут к остановке.

— да малыш да я сейчас кончу возбуждение слишком сильно бьет дрожь глаза туманятся спазмы блаженства сродни конвульсии сокращения рта губы свело улыбкой да да да пусть откроется я хочу оставайся открытой я и не думал что кончу и теперь я сжимаю все ноги и бедра вокруг запястий и там, внутри, да, вон там, вся эта дрожь

— Теперь я кончу упрямей и жестче, прямо туда, и не видно конца и края

— словно плыть по морям, каждый круг, каждый цикл, начинаясь с подъема, с прилива, рушится вниз, с каждым разом все истовее, все жестче, прямо

— и когда кончатся эти конвульсии?

— Когда ты с кем-то, с каждым разом все истовее, все жестче.

— Я опять уйду в сны.

- океан; все рыбы сходят с ума; видишь, они оранжевые
- и вот он конечный оргазм все бурлит пеной; стенки отвердевают, и там, между ними, все горит
- сегодня не будет конца
- а сейчас я буду дрочить.
- Потом конвульсии усилились.
- И тогда шлюхи приняли меня, О, как шлюху.

#### (КОНЕЦ ВТОРОЙ ПЕСНИ ШЛЮХ)

Но еще прежде О скажет, что она никогда не хотела быть мастером в этом деле.

### **Выход мальчиков-панков**

И я того среди сотни братьев привечал,  
Кто сердце мне травил, чье сердце я терзал.

По словам первого из этих грязных, немывтых мальчишек, тело все еще пребывает в процессе формирования.

И особенно его тело, продолжал этот мальчик — его звали Антонен Арто, — худощавое мерзкое грязное искалеченное больное исковерканное деформированное опустошенное наркотиками и желаниями, подавленными размышлениями.

В теле, продолжал он, если его не задушат семья и религия, заложена поразительная способность к самопреобразованию.

На самом деле, он говорил еще много чего отвратительного, и речь его тоже была отвратительной. Пока он не умер.

Мальчики-панки пошли по его стопам. Когда он умер.

Все они выебли своих матерей и освободились от рабства.

Рост частной собственности, одна из характерных особенностей буржуазно-индустриального мира, остановился; частная собственность в форме многонационального и экстранационального капитала, вернулась во владение меньшинства. Экономическая, а значит, и политическая, власть стала централизованной.

Разделение частной и государственной собственности становилось все менее явным, а потом и вовсе сошло на нет, что было напрямую связано с отхождением от патриархата, а потом — с отмиранием памяти о патриархате.

Иными словами, панки стали одним из истоков нового мира.

И хотя эти испорченные мальчишки стояли на грани нового мира, они понятия не имели, как соотноситься друг с другом. Для них язык не вызывал затруднений.

Хотя этот мальчик, Арто, был протопанком, мальчики-панки отреклись от него публично. Как и ему, им хотелось ломать и крушить.

Они отреклись от истории, но они были прямыми потомками Гелиогабала Александрийского, которого сделали императором, когда ему было всего четырнадцать. Гелиогабал был анархистом, презиравшим собственное правление, каковое ознаменовалось убийствами, инцестом и отсутствием всяческих ценностей.

Его насильственно умертвили, когда ему было восемнадцать — в уборной его же собственного дворца, — в труп выбросили на улицу, где две бродячих собаки как раз справляли малую нужду.

Когда тебя целует панк — это как будто тебя затягивает в безумие или в смерть. Панки — последние из расы белых мужчин.

А когда тебя трахает кто-то из них, сказала девочка, которые в эти мгновения трахалась с мальчиком-панком, тебя словно затягивает в убийство.

Может быть, именно это и произошло с проститутками. Они не прибегали к насилию, потому что начали дрочить. Так думала О. Но потом им все же пришлось, когда в город вошли мальчики-панки и шлюхи с ними встретились.

Это было еще до того, как те парни, что пришли следом за панками, высадились в Англии.

Мальчики наставляли шлюх:

— Мы несвободны, потому что в любую минуту небо может взорваться ошметками плоти...

— Европа, она далеко... далеко-далеко... и даже дальше, чем можно представить, потому что западная цивилизация умерла... распалась ошметками плоти... безо всякого взрыва.

И еще панки сказали:

— Террор — вот что нам нужно, потому что мы, шлюхи и панки, не сможем освободиться, скрываясь от страха — того страха, которому нет названия.

— Но, — ответила О, — однажды я уже пережила страх. И пока я от него не избавлюсь, я не узнаю, с чего началась проституция.

— Моя мать — у меня внутри. Она хочет, чтобы я стала самоубийцей, потому что она сама была самоубийцей. Я бы, может быть, и попыталась найти отца, чтобы у меня больше не было матери, но отцов нигде нет.

Все шлюхи согласились с О: это был конец белого мира.

Как раз в это время О подружилась с девочкой, что работала в том же борделе. У нее были черные волосы и зеленые глаза.

Пытаясь решить для себя, как перестать быть проституткой, О рассказала своей подруге, Анж, историю о Святом Желчном Пузыре:

До того, как начался мир воды, земли, света и воздуха, было только желание воды, земли, света и воздуха.

Святой Желчный Пузырь бродил по горам. Однажды он проходил по лесу. Там, в лесу, были кедры, с которых ручьями стекала роса; жесткие, одревенелые стебли подрагивали в искрящемся свете. Святой Желчный Пузырь шел по колена в мертвых пауках, мхах и слюне; вскоре все обрело чистоту и прозрачность: золотой воздух и зыбкая влага. Воздух был как вода.

Под высокими кронами кедров кусочки крылышек насекомых устлали высоковольтные провода; трава вокруг столбов была девственной.

Святой Желчный Пузырь лег на девственную траву и уснул...

А когда святой Желчный Пузырь проснулся, выбрался из своего сновидения про одиночество, он решил, что ему пора возвращаться в человеческий мир. Что-то подсказывало ему, что пришло время все бросить, отказаться от собственной сущности, обратиться в ничто и сойти в черноту — ту черноту, что называется миром, который внизу.

— Когда я обращаюсь в ничто, — произнес он вслух, — я стану человеком.

Святой Желчный Пузырь сошел в мир, который внизу, и встретил там шлюх, что лежали, раскинувшись на земле. Он подошел к ним. Во время Алжирской войны пуля пробила дыру в его левом бедре, так что, когда одна из двух проституток подняла на него глаза, она тут же их опустила.

Он уселся на землю, между двумя проститутками.

– Заклинаю вас, сестры, оставайтесь верны земле. Не верьте тем, кто рассказывает о запредельных надеждах.

– Во время оно душа смотрела на тело с презрением. И это презрение было величайшей из добродетелей. Душа хотела лишь одного: вырваться на свободу...

– Ты есть не хочешь? А то угощайся, – ответила стройная шлюха.

Святой Желчный Пузырь взял банан и собрался уже откусить, но тут он взглянул на молоденькую проститутку – на младшую из двоих, – и увидел в ее глазах блеск влажных снов.

Она, эта молоденькая девчонка, взяла за руку свою любовницу, которую звали Анж, и так и держала, не отпуская. Ее пальцы слегка дрожали, в этой долине, песчаной на ощупь, где начиналось море, и мир тоже дрожал от взрывов.

Святой Желчный Пузырь пристально наблюдал.

Шлюхи объяснили святому, что они путешествуют к краю ночи.

Одна из них прижала свои набухшие мембраны к лицу святого, а вторая принялась лизать ему член. Потому что теперь они уже никак не могли оставаться шлюхами.

Потом они рассказали ему о происхождении проституции:

– Мы, как и все проститутки, происходим из города КаВиДи, где матери пожирают своих детей, а потом совокупаются с псами. И сейчас нам пора возвращаться назад, всем шлюхам пора возвращаться назад – к своим истокам.

– Езжай в КаВиДи и скажи там, что ад уже скоро дойдет и до них. Скажи им, что мы возвращаемся. Что мы возвращаемся к первоисточнику проституции, и что нашим вестником может быть только святой, который познал блаженство.

Так Святой Желчный Пузырь сделался провозвестником революции, и женщины подожгли бордель. Огонь перекинулся на соседние здания, от дома к дому – и дальше. А когда в городе не осталось уже ничего, что могло гореть, пламя двинулось к лесу. Обращая деревья и воздух в сплошной черный дым, огонь ловил на лету голубей и грифов и швырял их, бездыханных, прямо на солнце. Огонь вгрызался в лапы зверей, что неслись не разбирая дороги, разинув пасти, набитые жгучими угольками: вся гора польхала.

Святой Желчный Пузырь как раз проходил по тому лесу и, осознав, что он сейчас задохнется, заперся в ванной — в той самой хижине, что раньше служила ему отшельническим убежищем. Он набрал полную горсть собственного дерьма и натер им лицо, потому что он был святым. Потом Желчный Пузырь бросился в реку, что протекала сквозь лес. Пистолет, забытый убийцей, он держал наготове — приставленным к глазу.

— Довольно крови. Довольно ненависти, — сказал он. — Обернемся водой. Превратим хуи в воду.

Когда лицо святого коснулось воды, он нажал на курок. Кровь хлынула из разорванной плоти, обогрив реку, что пылала под черным дымом; его голова покатилась, как мяч, по подводным потокам, а наверху львы, змеи, свиньи и даже грифы, гонимые жаром и дымом, испускали дух, кто-то — сам по себе, кто-то — не без посторонней помощи.

Труп отца обращался в воду.

Рак заполз мертвецу подмышку, оранжевая рыба обкусала ему все губы...

Шлюхи опьянели.

О не знала, стоит ли ей уходить вместе со всеми проститутками. Теперь ей снились сны про женщин.

Ей представлялось, что она пришла к ведьме. В розово-красную комнату. В центре стояла кушетка, обитая твидом. Рядом с кушеткой — рождественская елка.

Старуха-ведьма выкладывала перед О всякие жуткие штуки, которые очень ее пугали. О надо было решить, будет она проходить обряд или нет. Этот обряд обещал быть страшнее во сто крат, но если она все же решится и выдержит до конца, ей разрешат войти в другой мир.

Другой мир располагался в том же здании, наверху.

О раздирали противоречивые чувства: ее желание попасть в другой мир только усугубляло страх.

Там, наверху, ведьма дала О хрустальный пистолет. О отшвырнула его от себя. И как только она его отшвырнула, она поняла, что не стоило этого делать — что это было против правил, которых она не знала, но которые до сих пор умудрялась не нарушать. И еще О

поняла цель обряда, который ей предстояло пройти: напугать ее по потери рассудка.

— Я не хочу потерять рассудок.

Обряд начался, когда О вскрыла белые конверты. В первом были счета по ее карточке Visa. Ей надо было их увидеть. Ей надо было понять, что она всегда тратила больше денег, чем зарабатывала или могла бы когда-нибудь заработать. О сорила деньгами и этим походила на свою мать до того, как та покончила с собой.

О это не напугало.

Во втором конверте лежали крошечные куколки для украшения тортов ко дню рождения. Ковбои и индейцы. Во рту у каждой пластмассовой куклолки было по насекомому, и еще по насекомому — под подбородком и в обеих руках. Это были самые страшные насекомые, вроде скорпионов. О понимала, что все это как-то связано с сексом, но не понимала, как именно.

О не испугалась, она сдерживала свой страх, потому что больше всего на свете боялась бояться, и все-таки ей бы хотелось сейчас испугаться. Испугаться до полной потери рассудка — чтобы войти в неизвестное.

Именно там, в городе, что сгорел дотла, О увидела свой последний сон про себя и свою подругу:

— Джон, выеби О пальцем, — сказала Анж. Анж была режиссером. Ставила свой первый спектакль. Наверное, все это происходило в бордельном театре. А Джон был любовником приятеля О, ее единственного в Александрии друга-мужчины.

Мальчик медленно ввел средний палец между толстыми половыми губами О.

— Так нормально?

— Нормально, — сказала О.

Она была в черных хлопчатобумажных трусиках, которые всегда надевала во время месячных. Это были единственные ее трусики, которые не забивались между ягодицами.

В трусиках была прокладка «Котекс».

Джон просунул палец как можно дальше. Он знал, как доставить женщине удовольствие, удовольствие в самых разных его проявлениях, которые как будто сосуществуют в одном пространстве, но все же — отдельно друг от друга.

Ни Джона, ни О не беспокоила ее кровь.

Джон велел О облизать его пальцы, которые, побывав у нее в пизде, теперь были измазаны густой кровью. О уже не разбирала, где они, эти пальцы: еще в ней, или уже нет. И ей было совсем не противно их облизывать.

О отстранилась от Джона. Она вдруг осознала — если бы ее разумение было глазами, то можно было бы сказать, что у нее открылись глаза, — что испытывает сексуальное удовольствие в общественном месте, и что это неправильно. Нельзя отдаваться мужчине на публике — тем более, мужчине, которого ты не знаешь, — когда у тебя менструация. И все же она это делала. И ей это нравилось. Иными словами: то, что с ней сейчас происходило, происходить не могло.

И все, что с ней происходило, было, как всегда, эротично.

Джон прикусил ей сосок. Раз, другой. О было радостно и легко. Она знала, что он готов ей вставить. Она не хотела, чтобы он ее ебал, потому что они были в классе, полном учеников, и она была вся на показ, и ее бедра были в крови.

В начале той ночи Анж спросила у О, почему она не дала себя выебать. Она же видела, как отчаянно О хочет трахаться.

О задумалась над вопросом. И решила, что она, наверное, пала жертвой — хотя раньше она никогда не считала себя жертвой, — общественного представления о том, какой должна быть женщина ее возраста. Женщина ее возраста, уже далеко не ребенок, по общему мнению, больше не возбуждает желания в мужчинах, за единственным, может быть, исключением: если она не проститутка. Но самое главное, по общему мнению, такая женщина напрочь теряет свою сексуальность.

О поняла, что женщины, которые моложе нее, разбираются в этих вопросах значительно лучше, чем женщины ее возраста.

А теперь ночь пришла в мертвый город и укутала все.

О оказалась посреди большой и широкой улицы. Она шла по проезжей части, по среднему ряду, словно она была автомобилем или мотоциклом.

В глубине души О понимала, что это опасно — изображать из себя мотоцикл. Она почему-то была уверена, что средний ряд, по которому она шла, скоро исчезнет, сойдет на нет — и так все и вышло, и когда это случилось, О перестроилась в первый ряд.

Она благополучно добралась до конца улицы. Там ее дожидалась Анж, хотя О даже и не надеялась, что они когда-нибудь встретятся снова. В этом опустошенном городе.

— Останься со мной, О. Здесь, сейчас.

На это время у О была назначена встреча с женщиной, который был много старше нее и которого она не знала по имени, в одном значном квартале. О осталась с Анж.

Они пошли по пустынным улицам. О немного расстроилась, что не сумела встретиться с тем мужчиной. Впрочем, она не особенно волновалась по этому поводу, потому что ей надо было придумать, что делать с кровью. У нее не оказалось с собой прокладки, так что в любую минуту кровь могла протечь и испачкать одежду.

Она вспомнила, что на углу есть аптека, неподалеку от универсама, где она собиралась встретиться с —

Но они с Анж шли совершенно в другую сторону — по улице, что пересекала проспект, по которому О бежала до того, как увидела Анж. Они направлялись в самую темную, самую сиротливую часть сгоревшего города.

Там жили художники.

Там тоже была аптека, и О запрокинула голову, разглядывая что стоит на стеклянной полке высоко над прилавком. Она увидела стопку тампаксов. Тампаксы производства какой-то восточной страны — потому что они были не в картонных коробочках, а просто в обертках из тусклой дешевой бумаги, кое-где даже надорванной.

О побоялась покупать эти тампоны — мало ли, какая в них могла быть зараза, — и спросила у женщины за стойкой, нет ли прокладок.

Худосочная, болезненного вида блондинка указала на деревянные полки за спиной О. Самые верхние полки терялись где-то в недостижимой вышине. И там, почти на самом верху, стояла большая коробка с «Котексом». Судя по размерам коробки, эти прокладки предназначались для слоних.

— Вот видишь, О, — сказала продавщица, — во время месячных тоже можно ебаться.

В ресторане, куда привел О тот мужчина, все кричало о роскоши и довольстве. Оказалось, что О его знает. Однажды они с ним встречались, с этим мужчиной. Он был профессором, одним из самых известных и уважаемых преподавателей в этой стране, и

писателем. В отличие от остальных мужиков, которые трахали О в последнее время — и которых она могла вспомнить, — он обращался с ней ласково и уважительно.

Они сидели бок о бок на красном кожаном диване, и только в самом конце ужина он притянул ее к себе.

Выходит, он хочет узнать меня по-настоящему, подумала О.

Он мягко нагнул ее голову вниз, к своему члену. Это был нечеловеческий член: маленький, остроконечный, с круглым выступом посередине, и не красный, а белый. Как у kota. О взяла его в рот. Она почему-то была уверена, что никто в ресторане, в том числе, и официант, не заметил ее исчезновения под белой скатертью — в царстве, что скрывалось за этим покровом.

Когда все закончилось, О подняла голову и увидела, что мужчина переменялся: он улыбался, как ангел, его волосы, прежде седые и редкие, стали густыми и черными, и прическа теперь была в стиле афро, типа тех, что когда-то носили белые либералы.

О стало дурно. Она вдруг осознала, что если она не теряет сознание во время секса, этот секс вызывает в ней лишь отвращение. До тошноты. Это безнравственный секс, аморальный. А тот секс, что был у нее на секс-шоу — это был настоящий прорыв, выход за грань возможного, когда ты теряешь себя и летишь в небеса, и в мире нет уже ничего, кроме этого неба и бесконечной черноты. Теряя себя, «она» испугалась. О поняла, что ей хочется этого секса. Это именно то, что ей нужно — вновь обрести ту сексуальность, которую она познала, когда была шлюхой.

(КОНЕЦ ТРЕТЬЕЙ ПЕСНИ ШЛЮХ)

О, еврейка, она сказала себе: мне нужно вернуться к своим корням.

## **МИР БЕЗ МУЖЧИН, МИР, ПРОНИЗАННЫЙ СНАМИ**

Уже потом Анж рассказала О, что ей снился сон про ее отца. О и не знала, что у нее есть отец.

— Там, во сне, я опять была маленькой. Я была в большой комнате. А этажом ниже располагался отель. Тоже очень большой.

— Такой большой-пребольшой отель. Потому что его построили специально для представлений. Театральных спектаклей. Медицинских демонстраций.

— Мы были одни в той комнате. Мы с отцом. Выйти оттуда было никак невозможно, потому что там не было ни одной двери, а телефон не работал, так что мы были только вдвоем.

Папа вдруг осел на пол. И стал задыхаться.

Тогда-то я и поняла, что мой папа — предприниматель.

Я не знаю, откуда врачи узнали, что происходит. Но они все равно приехали и забрали его в больницу. Такая большая больница, под землей. Его везли на каталке, а я шла рядом и держала его за руку.

Врачи забрали отца.

Они забрали его у меня.

Я ждала, когда он вернется. До того, как я тебя встретила, О, я не умела вообще ничего — только ждать.

Время, проведенное в ожидании — это отсутствие времени. Безвременье.

Времени просто не стало...

Врачи сказали, что отец будет жить. «Но, — и тут мое сердце упало, а в горле встал ком, — он ослеп».

«Ой».

«Если хочешь, — сказал мне один из врачей, самый добрый, — можешь пойти к нему».

Я вошла в маленькую комнатку, и там были длинные тонкие трубки, по которым текла разноцветная жидкость, и эти трубки соединялись с другими трубками, еще длиннее и тоньше, и эти другие шли папе в рот. Я подумала, что его так кормят. Я, наверное, ударилась копчиком об уголок стула или чего-то еще, потому что я начала кричать.

Люди вокруг, это были мои друзья, велели мне заткнуться. У папы было больное сердце, и теперь у него не было глаз, но он не кричал.

Отец ничего не сказал.

Я была молода. Я была как Антигона: мне, как и ей, не хотелось провести свои лучшие годы рядом с умирающим стариком. Мне не хотелось, чтобы меня заперли вместе с отцом. Я пошла искать телефон. Там, в больнице, были телефоны. Но они не работали. Все до единого.

Я оставила отца одного лишь потому, что мне надо было найти телефон. Я пришла в отель. То есть, так мне сперва показалось, что это отель.

Но оказалось, что это театр. Там, внутри, все было в точности так, как снаружи.

Там был еще маленький магазинчик. Словно родинка на коже здания.

В глубине магазинчика были книги. Ближе к входу — стеллажи с порнографическими журналами. На нижних полках стояли комиксы.

Как-то так получилось, что в магазинчике я была не одна, а с Луизой Ванаан. Ее глаза были такие зеленые... зеленее моих, потому что она лучше меня разбиралась в комиксах. Я хотела спросить у нее совета, но потом просто решила понаблюдать, куда она смотрит, на чем задерживается ее взгляд. К каким книжкам она прикасается.

О стало завидно.

— А когда стало уже совсем ничего не видно, какой-то мужчина принялся объяснять, что его только что допросили двое других мужчин.

Хотя он говорил не со мной, он вдруг замолчал, и ко мне подошли два мужика. Один из них положил мне в рот какую-то бумажку.

«Что вы делаете?»

«Это лакмусовая бумага. Ее используют, чтобы брать отпечатки пальцев».

Они подошли с этой бумажкой только ко мне. И я спросила у них, почему только ко мне?

«Просто хотим с вами поговорить, задать пару вопросов».

Они мне вкололи какую-то жидкость — то ли бледно-желтую, то ли бледно-оранжевую. Я не понимала, зачем. Если им надо было узнать мои тайны, я бы все рассказала и так. Потому что я всем все рассказываю. Всегда. Я обернулась к Луизе Ванаан и попросила ее не бросать меня. Мне хотелось смеяться. Может быть, из-за той непонятной жидкости, что они мне вкололи.

О и Анж остановились у озера с серой вонючей водой. Когда-то здесь был минеральный источник. Дорогой и престижный курорт.

— И как этот сон связан с твоим отцом?

— Я не знаю. — Хотя она знала. Поскольку теперь у отца не было глаз, Анж начала видеть сама. Она видела воду, зеленую с

серым, чаек в небе и горизонт, за которым скрывались другие моря и дороги к сокровищам.

— А мне вот ни разу не снился отец, — сказала О.

— Мне снятся города. Сегодня ночью мне снилось, что мы с тобой бродим по мертвому городу.

Мы пришли на центральную площадь. И там был монастырь.

Монахи ползали по полу.

А внизу были ямы. И песчаные насыпи, похожие формой на отрезанные груди.

О, ты можешь прочесть хоть все старые рукописи в этом здании, но ты все равно не поймешь ни слова.

Две бывшие шлюхи пришли в свое самое любимое место в Александрии; беспорядочное скопление разрушенных стен; вонючие водоемы, слишком грязные даже для самых неразборчивых птиц; непонятное вещество, нечто среднее между песком и грязью, пропахшее гнилью и экскрементами. Когда-то здесь был знаменитый курорт с минеральными водами, и молоденькие мальчишки съезжались сюда со всего света, чтобы спрятаться в здешних густых тенях. О даже больше, чем Анж, любила гниение и разложение. И еще ей нравился запах ее подмышек. Иногда — более едкий, чем пот.

Они укрылись за полуразвалившейся стеной, потому что пронзительный ветер подул с просоленного моря.

— Сны уже не подсказывают мне, что делать. Здесь ничего не осталось, Анж. И нам тоже пора уходить.

— А куда мы пойдем?

Они наблюдали за чайкой, что перелетала с одной измазанной птичьим пометом скалы на другую.

— Мы избавились от клиентов. И теперь наши сны ничего не значат.

И тут разразилась буря. Воздух сделался угольно-черным, сгустился и стал таким плотным, что превратился в материю. Это было похоже на сотворение мира.

Посреди бела дня небо расколосось надвое.

— Но мифы кое-что значат, — сказала зеленоглазая девушка.

— Правда?

Зеленоглазая попыталась исчезнуть, втиснуться в стену, о которую опиралась, но не смогла и свернулась клубочком, прижавшись к О.

— Я расскажу тебе один миф. То есть, наверное, это миф. Это из тех историй, что мне рассказали панки.

Эти дрянные мальчишки, которые смылись из города.

— Жила-была одна девочка, и был у нее бойфренд. У нее была черная кожа, а у него — белая.

О поцеловала Анж.

— Вот видишь, я же сказала, что больше ни в чем нет смысла.

— Они жили на кладбище.

— А-а, — сказала О.

— Они вечно ссорились, и поэтому не расходились.

— Однажды она на него наорала: «Вечно ты ходишь голый, только в этом своем ожерелье из черепов. В которых копошатся черви. Которое ты никогда не снимаешь. И еще ты воняешь. Кошмарно воняешь. Ты считаешь, что смерть — это очень сексуально, и поэтому от тебя так несет: тухлятиной, гнилью, вонючей шерстью. Но хуже всего от тебя воняет, когда ты собираешься кончить».

А кончить он собирался всегда, потому что вообще никогда не кончал. И девочка даже не знала, нравится это ей или нет.

«Ты о чем говоришь? — сказал мальчик. — Ты ведь даже не белая».

И, чтобы выиграть этот спор, девочка решила добыть себе белую кожу.

В уединении, настолько полном, что оно приближалось к небытию, она медитировала на белизну. Которая есть небытие. Ничто.

Она ушла далеко-далеко.

Брошенный любовью, мальчик сделался уязвимым.

Демон, что обретался поблизости — ибо демоны вечно болтаются где-нибудь рядом с могилами и черепами, — увидел, что мальчик теперь уязвим. Открыт для нападения. «Ага», — сказал себе демон и обернулся змеем. Теперь у него появился пол. Демоны, существа по природе своей бесполое, обладают способностью воплощаться в кого угодно, и во что угодно.

Демон в обличие змея подполз к мавзолею, где жили девочка с мальчиком. У порога он обратился в точную копию девочки, и в таком облике переступил порог.

Мальчик подумал, что его подруга вернулась к нему и теперь станет его умолять, чтобы он принял ее обратно. И он, конечно же, примет ее обратно. Ей не придется долго его упрашивать.

«Радость моя, — сказал он. Он был голым. — Когда тебя не было рядом, я только и делал, что вынюхивал твои запахи. Лес и мох, спавшие у тебя во влагалище. Секречии, что вытекали в озера и реки из твоей дырки. Отныне и впредь я сделаю все, что смогу, лишь бы быть рядом с тобой и вдыхать твои запахи до конца всех времен».

«Я вернулась, потому что люблю тебя».

Змей, в которого обратился демон, был ядовитой породы. И демон, когда превращался в девочку, оставил себе ядовитые зубы, но спрятал их не во рту, а глубоко в фальшивой девичьей пизде.

Но по словам «я люблю тебя» мальчик понял, что это была не его подруга, и поэтому он прикрепил на головку члена крошечное взрывное устройство. Вставил в отверстие уретры. Так, своим взрывчатым членом, он победил сексуальное одиночество и уязвимость, проистекающую из этого одиночества.

И подавленный демон обвился, в облике змея, вокруг вставшего члена.

Анж закончила свою историю, которую ей рассказали мальчишки-панки.

— Вот бы мне силу этого змея.

Ветер с моря стал уже совсем лютым.

— Вот бы мне его могущество.

— Нам нельзя здесь оставаться, — сказала О. — Просто быть шлюхами и дрочить — этого мало. Нам нужно что-то еще.

— Да, я согласна.

— Поехали в Европу.

— Нет. Только не в Европу. Европа давно умерла.

— Но там есть что украсть.

— Ладно, уговорила.

Это было первое значимое решение, которое девушки приняли с тех пор, как сожгли бордель — с тех пор, как сгорел их город.

Анж:

— Только как мы туда поедем? У нас нет денег.

— Однажды я уже пробовала попасть в Европу, — сказала О. — Я поехала в аэропорт. У меня был билет. Я держала его в руке.

В то время я хорошо зарабатывала.

Ладонь у меня была влажной и липкой. Я держала в руке только одну половинку билета, потому что вторую забрала женщина за стойкой регистрации. В аэропорту теперь не осталось ни души.

Я поняла, что никогда не вернусь в Европу.

Я стояла в большом зале, похожем на пещеру. Наверное, был поздний вечер, потому что погоды не стало вообще. Я хотела найти ту женщину, что забрала у меня половинку билета.

Но ее не было.

Не было никого.

Как будто не стало времени.

Время умерло, и меня захлестнула тревога. Она как будто хотела вскарабкаться мне на плечи и сесть мне на шею. И чем сильнее я тревожилась, тем отчаяннее мне хотелось в Европу. В конце концов, это отчаяние, это желание стало таким неистовым, что я испугалась, что просто не выдержу и умру.

Я подумала: там, где я в этом мире, который не мир, больше нет никого.

Анж понимала, что О пытается описать одиночество, которое и она тоже испытывала в борделе.

— Мне нужно было найти хоть кого-то. Кого-то, кто взялся бы мне помочь, — продолжала О.

Время ожило, когда я увидела девушку за стойкой. Я подошла к ней. Я хотела ей рассказать обо всем, что случилось.

Она исчезла.

Где-то там, за пределами моего поля зрения, располагались другие секции аэропорта. И пассажиры, у которых были билеты, проходили на посадку.

В одной из этих посадочных зон, за раскладным столом, сидел какой-то сморщенный мужичонка с лицом, как козлиная морда. На столе перед ним лежал чек по карточке Visa. Это была недостающая половинка моего билета.

Я предъявила билет той девушке, которая исчезла.

Теперь мне разрешили вернуться в Европу, где люди по-прежнему читают книги.

Я приехала в аэропорт пораньше. Задолго до срока, что назначило туристическое агентство. Задолго до вылета своего рейса. Но я провозилась с поисками второй половинки билета, так что когда я ее нашла, как раз объявили посадку на мой самолет.

Чтобы сесть на самолет, мне оставалось пройти еще один зал: где проверяют багаж и ручную кладь.

Человек, который осматривал мои вещи, это был мужчина, засунул палец в плюшевую зебру, которую мне подарил мой последний бойфренд — на прощание. Кончик пальца наткнулся на что-то твердое. Оказалось, что это монеты. Большие монеты. Деньги фашистской Германии времен войны.

— Мы поедem в Европу, О.

— Да?..

— Мы начнем путешествие.

Ветер клонился к закату вместе с солнцем: и все золото — тайное сокровище океана, который меняется день ото дня, — сделалось видимым. Анж присела на маленький плоский камень. О села к ней на колени.

— Тише. Успокойся. Пока ты не успокоишься, мы не сможем начать путешествие.

О ничего не сказала.

— Мы уже путешествуем.

О спрятала взгляд в сундучок темноты, потому что умела расслабляться, только когда у нее не было глаз.

— Расскажи, что ты видишь, О.

— Я не знаю. Мне нужно выбраться из укрытия. Здесь так страшно. Оно боится.

— Оно?

— Что-то во мне. Оно считает, что никто его не любит. Оно не знает, что можно выйти на улицу и поиграть, и так отчаянно хочет выйти на улицу и поиграть. И мне страшно, Анж, что оно меня заберет.

— Оставайся со мной, всегда, — она погладила подругу по голове.

— Есть одно место, — сказала хрупкая девочка.

— Где, милая?

— В океане. В океане цветных, людей второго и третьего сорта. Дешевой рабочей силы. В бурой, грязной воде. Это место — пятно. Какое-то время они молчали.

— И вот оно испускает лучи, пятно. Его глаза открываются.

«Как мило», — вот первое, что говорит пятно.

Губы Анж приоткрылись, сложившись в букву, что была именно ее подруги, пока она слушала и наблюдала за тем, чего не могла увидеть.

— Оно начинает играть, — сказала О, как будто мир уже воплотился, уже случился. — Оно движется, оно кружится. Оно делает сальто и опять выпускает лучи.

А теперь его нет. Наверное, оно превратилось в водоворот. Вот сейчас что-то дрогнуло у меня внутри.

— Это и есть путешествие, — сказала Анж, когда О уже не могла ее слышать.

— Зверек просыпается, он дрожит, — сказала О.

— Дрожь хочет сдвинуться вниз. Мне говорят: «Ничего не случится, пока все мы не спустимся вниз. Единственный способ проснуться, О, это спуститься вниз».

«Мне так одиноко», — воскликнула я.

А мне сказали: «Спускайся, ебучая сука».

И я сказала: «Спасибо».

— Давай войдем внутрь. Куда-нибудь внутрь, — поправилась Анж, когда мира не стало.

— Я хочу спуститься вниз.

Девушки пошли прочь, подальше отдохлых рыбин.

— У нас есть, что зажарить, О. У нас есть будущее.

В этом мире не было мужчин, и поэтому дохлая рыба валялась повсюду. Анж вспомнила свою бывшую любовницу, медсестру, которая рекламировала себя на мужском нудистском пляже.

Есть запахи, которые никогда не выветриваются, потому что о них невозможно забыть.

В ту ночь Анж приснилось, что к ней приехал отец. Она лежала в кровати со своим плюшевым зверем. Отец хотел сообщить ей, что когда-нибудь в мире снова будут мужчины, но вместо этого принялся обсуждать маму Анж.

«Она ждет тебя, А, твоя мама. Она хочет, чтобы ты к ней пришла.

Или вошла в нее, так, наверное, вернее.

А, мы твои папа с мамой. Она хочет, чтобы ты к ней пришла — к ней в дом. Там в раковине, в ванной, будут остатки прогорклого риса с бобами, смешанные с бурым дерьмом. В нижней части, как будто там нарисовали круг. Тебе надо будет все убрать. Всю твою косметику и парфюмерию мать положила в посудомоечную машину».

— Я и не знала, что это называется «посудомоечная машина».

Как будто все определяется детством.

Утром Анж рассказала О, что к ней приходил ее покойный отец. И он объяснил, как им попасть в Европу.

— Ладно, — ответила О, — давай пройдемся по домам всех богатых, что когда-то еблись в этом городе, и посмотрим, а вдруг там и вправду найдется чего-то такое, что даст нам возможность уехать в Европу.

Было раннее утро, еще не подсвеченное желтым солнцем, и подруги отправились по домам богачей. Все эти здания были разрушены; где-то просто недоставало дверей или стен, а где-то не было вообще ничего — лишь живописные кучи обломков, похожие на декорации к фильмам Дарио Ардженто. Хотя в городе еще оставались немногочисленные представители аристократии, О с Анж не встретили ни единого человека — только животных, которые, как и они сами, передвигались на четырех лапах. На четвереньках.

О подумала: это не значит, что мы превратились в животных. Просто животные приняли нас. Теперь.

Все было, как в самом начале мира, когда солнце не знало пощады, а все сущее жило и двигалось.

Анж стала рассказывать О о детстве, потому что в то время ей было трудно говорить:

— Все деньги... с маминой стороны... она сумасшедшая... совершенно безумная... свобода, то есть, изоляция богатых благодаря деньгам. — Она начала повторяться. — У моего папы был сын, но он умер, и папа меня воспитывал как мальчишку. «Мама любит тебя», — говорил он мне, потому что он всегда ее защищал.

Когда я была маленькой, я вообще не разговаривала. Я была мальчиком.

Анж и О ничего не нашли в этих домах — только коробочки с презервативами.

— Попробуем поискать еще. Если упорно искать, что-нибудь обязательно найдется.

— Что-то другое?

В доме, куда они забрались, не было стен. Анж вышла наружу, и нашла там дорожку. Вернее, тропинку, но с большими претензиями. Она даже не сразу сообразила, что там повсюду валяются трупы собак, а когда сообразила, то рванула к ближайшему укрытию.

Там была лишь половина передней двери. Анж знала про этот дом всё. Хотя внутри не было света, она уверенно прошла к лестнице по развороченному паркету.

Потом разыскала вторую лестницу.

О старалась не отставать от подруги. Она думала о предстоящих месячных.

— Опустит жалюзи, О.

Одна из жалюзи оторвалась. Здесь, в комнате внизу.

О опустила жалюзи.

— Теперь — на лестницу. Иди за мной.

Она поднялась наверх и пошла вперед, пока не уперлась коленом в двойную конструкцию из кровати и мертвого тела.

Анж:

— Я следую указаниям отца.

В детстве она не могла заснуть, пока не чувствовала себя в безопасности. В безопасности — на корабле, посреди океана. Ей становилось еще спокойней, когда она засыпала, из этих изумрудных глубин на поверхность всплывали морские чудовища. Среди них не было двух одинаковых.

Анж знала, чье это тело. Ее мертвой матери.

— Мама.

Она не ответила Анж. Она никогда не отвечала Анж, потому что все время болтала с подругами по телефону.

Анж шнула ее ногой.

Она была очень упрямой и зацикленной на себе. Она вообще ничего не замечала — только свою немислимую красоту и своих подруг. У нее были зеленые глаза и черные волосы — чернее китайской пизды. Ее губы всегда были красными, в красной помаде. Красное, черное и зеленое. Анж не знала, какого цвета была ее кожа, потому что ничего не видела.

Анж принялась щупать мать.

— О, подойти сюда.

О ничего не знала о матерях, но сообразив, что делает Анж, спросила Анж, почему она это делает.

— Где-то тут должен быть ключ, — ответила Анж.

— Какой ключ?

— От сундука с сокровищами. Мы же ищем спрятанные сокровища, да?

О начала вспоминать. Она решила, не принимая решения, помочь Анж найти ключ.

Когда они найдут ключ и откроют сундук, они смогут уехать в Европу.

Анж видела этот сундук только однажды, когда была маленькой. Ее оставили дома одну. Что случилось нечасто. В материнском зеленом платяном шкафу стояли три ряда туфель на шпильках. А под ними был черный сундук. Запертый на ключ.

Анж велела О пощупать в районе груди, потому что ключ мог висеть на цепочке.

Руки у О онемели и потеряли чувствительность.

Анж искала внизу. Но там не было ничего, к чему можно было бы прикрепить ключ.

— О, помоги мне.

— И что мне делать?

— Продолжай искать. А то у меня ничего не выходит.

И, к Индии стремясь прямым путем,  
Атлантики пупок пересечем.  
Здесь мощное подхватит нас течение;  
Но тем не завершатся приключения:  
Ведь на пути в желанный край чудес  
Нас ждет другой, препятствий полный лес<sup>1</sup>.

О было противно. Но Анж была ее лучшей подругой, и ради нее О пошла бы на всё. Наверное, это и есть настоящая дружба. Так что О попыталась себя убедить, что всякое мертвое тело — это всего лишь мертвое тело.

Ей вспомнились слова одного писателя из Северной Африки. «Первоисточник или преобразователь всякого значения и смысла, для которого «право» и «лево» — понятия всегда относительные, равно как и мир, определивший эти направления, ты влил свой компас в жидкое тело».

Эти слова придали О решимости, и она принялась обыскивать тело уже основательнее. Не только грудь сверху, но и ложбинку между грудями. Там обнаружился тонкий шнурок. О пробежала пальцами по шнурку, словно охотник — по следу зверя, и наткнулась на что-то твердое.

---

<sup>1</sup> Отрывок из 18-й элегии Джона Донна (перев. Г. Кружкова)

Добыча едва не ускользнула.

— Дай мне, — Анж попыталась схватить этот странный предмет и упала на О, повалив ее прямо на труп.

На миг они замерли неподвижно. Анж забрала у О ее находку. Мертвая мать не сказала ни слова.

— Теперь нам нужно найти сундук.

И они стали искать сундук, который все еще был только вымыслом.

Девушки бросили труп и пошли к другой лестнице. Эта лестница, с подобием арки на самом верху, вела прямо в комнату. Комната была маленькой. Комната — как окно с видом на океан, который больше окна. В комнате стоял стол. И большой черный сундук.

На черной крышке были вырезаны буквы какого-то неизвестного девушкам алфавита.

Пока О принималась, Анж вставила ключ в замок.

— Тут чем-то пахнет, — сказала О шепотом.

— Чем пахнет?

— Не знаю. — Она внимательно осмотрела себя.

Зеленоглазая девушка открыла сундук.

— Ничего нет.

— Да.

Уже на самом пороге, уже в преддверии неизвестного, О едва не сдалась.

Анж залезла в сундук чуть ли не с головой, и там, на дне, были бумаги.

— Опа! — сказала она.

И спрятала под свитер стопку бумаг, завернутых в кусок промасленной ткани, который, наверное, обоссала собака. О сгребла со дна сундука все бумажные деньги, которые там нашлись. Они на ощупь спустились по лестнице, открыли оставшуюся половинку двери и вышли в ночь. Где выжженный город скрывался в густом тумане, поглощавшем и звуки, и образы.

С тех пор Анж и О больше не возвращались в родительский дом.

Туман создавал ощущение конца света. В мире остались лишь рыбы и птицы, но их нельзя было услышать, их нельзя было увидеть — разве что ощутить их присутствие: местами туман прояснялся, и там были плотные облака.

Анж знала, что дороги, по которым им предстоит пройти, дороги, сложенные из водорослей и костей, обрамляющих океан, отражают воздушные тропы этих невидимых птиц.

О:

— Мой самый последний сон в Александрии был о моем самом последнем любовнике. Когда я в последний раз была с мужчиной.

— Я была в городе на краю света. Ждала своего друга у ресторана. Он был младше меня, и работал в этом ресторане.

А я работала на киностудии. И уже потом, позже, режиссер нашего фильма сказал мне, что хочет заняться разнuzданным сексом. Я пошла с ним в отель, в номер с огромной кроватью.

Он был точная копия Стивена Спилберга, и его не смутило, что у меня месячные. Но мне не хотелось снимать трусы. Такие белые, хлопковые.

Пока мы лежали в кровати, вокруг нас ходили какие-то люди, хорошо одетые люди из Нью-Йорка.

Секс у нас вышел неважный, так что мы просто лежали рядом и болтали ни о чем. Пытаясь быть вежливой — а у меня никогда это не получается, — я упомянула одного более-менее знаменитого человека из Нью-Йорка, нашего общего знакомого.

Но мне хотелось вернуться на ту серую улицу. Где ресторан. Где я ждала своего друга.

Он вышел из этого низкого мрачного здания, весь такой долго-вязый и неуклюжий, и подошел ко мне.

«Хочешь пойти со мной? — спросил он прямо. — Ты голодная, я тебя накормлю».

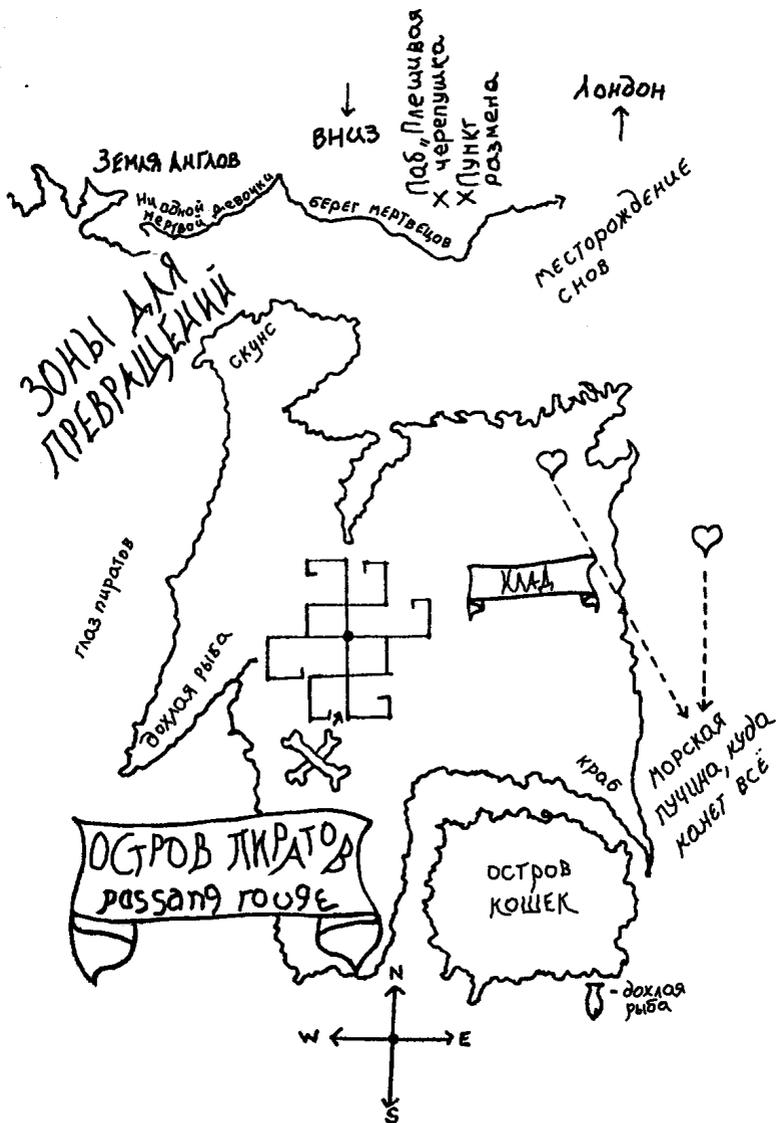
И я пошла с ним. Я не знала — куда.

Он спросил, хочу ли я встретиться с ним еще раз.

Я сказала ему, этому мальчику, которого так любила, что больше мы с ним не встретимся, потому что я шлюха. И пока я все это ему говорила, я поняла, что любовь и блядство — две разные вещи, никак друг с другом не связанные. «Наверное, мы уже никогда не увидимся». «Нет, мы увидимся, О. Непременно увидимся».

И вот тогда я поняла — прочувствовала всем своим существом, — что я обязательно его брошу, и никогда к нему не вернусь.

Анж дослушала сон О до конца, и они вместе вышли из города, где почти никого не осталось.



Рукопись, найденная вместе с картой:

## Начало Мира Пиратов

*(На нашем грязном пиратском наречии)*

Этот мир начался с инцеста. Инцест стал началом этого мира:

Отец пялит дочь. Ночь ебется с утром. Ночь – черная, утро – красное. И больше нет ничего.

В этом зазоре между временем и безвременьем отец понимает, что ему, быть может, и не стоит спускать прямо в дочь – или даже не стоит спускать вообще, – и вынимает свой член из ее штучки. Но он слегка не рассчитывает, и сперма бьет из него тугой белой струей. Бьет прямо в будущее, которое станет временем. В этом зазоре между временем и безвременьем самое страшное, что может случиться – это время.

Сперма взрывоопасна.

Ночь черна.

В миг, когда белые капли падают вниз, на землю, а вернее, на то, что еще только станет землей, начинается время – вот так начинается мир.

В мире времени все забрызгано спермой. Липкие, вязкие лужи – повсюду. Теперь, когда появилось время, солнце, первое существо в этом мире, то есть еще даже не существо, а предчувствие существа, выжигает сперму; остаются лишь черные угли и красная почва.

Первые звери на этой земле – красные или черные.

Других цветов пока нет.

Ночь – черная, утро – красное.

Так мы именуем ужас самого первого из наших рассветов.

Единственный человек, не одобрявший инцеста – мальчик, который живет на кладбищах. Это его отец спутался с его сестрой. И что самое гадкое, он хотел, чтобы дочь от него забеременела – отец.

Иными словами, мальчик не мог примириться с мыслью, что отец – это отец.

Желая остановить этот инцест, который уже случился, и все остальные инцесты, которые будут впредь – а значит, уже были когда-то в мире, – мальчик подходит к отцу и сковыривает ему голову ногтем. Голова падает ему в руку. И прилипает к ладони.

Но мальчик не из тех, кто стремится владеть чем-либо. Он любит не смерть, а все, что лежит за пределами жизни и смерти. Долгие годы он не владел ни единой вещью, хотя воровал постоянно – собственно, он поэтому и крадет, чтобы ничем не владеть, – и вот теперь у него есть голова. Удобно устроившись у него на ладони, голова прекращается в череп. В череп-чашу. Потому что она любит мальчика, голова, и хочет, чтобы он ею пользовался.

И он пользуется. Пользуется вовсю. Потому что теперь он может и воровать, и просить милостыню. Вот так и случилось, что он полюбил черепа и кладбища.

Забавам и развлечениям не будет конца.

Отец, оставшись без головы, жутко злится по этому поводу. Он собирается наказать мальчика, и наказать очень строго. Мальчик – его родной сын. Кроме того, мальчик – распущенное и безнравственное существо, потому что ему не нужна семья. Потому что он не хочет становиться мужчиной. Он научит мальчишку, как быть мужчиной. Отвечать за свои поступки. Стремиться оставить потомство, чтобы семя твое продолжалось в мире.

Не то чтобы мальчик хранит целомудрие. На самом деле, он только и делает, что ебется со своей подружкой, такой же вонючей и грязной, как и он, и похожей на крысу. Он так и зовет ее, Крыса, хотя это не единственное ее имя. И что самое мерзкое: он никогда не кончает в свою подружку, а это значит, что он занимается сексом ради самого секса.

Непрерывно.

Все время.

Но хуже всего, что девчонка, облезлая крыса, любит этого отцеубийцу больше всего на свете и за пределами света, потому что он никогда не кончает, а значит ебет ее бесконечно, и она может кончать, и кончать, и кончать беспрестанно, пока не остановится время.

Те, кто живут на кладбищах, не знают времени.

Они не думают о любви, потому что думают только о сексе и черепах. Они извращенцы.

Так рассуждает отец. Эта девчонка – его внучка.

Поскольку мальчик никогда не кончает, а девчонка кончает без передышки, он кончает так же, как она. И это – самое мерзкое извращение. Даже можно сказать, преступление.

– Они должны пожениться, – объявляет безголовый отец. – По другому – никак.

Это – единственный выход.

Девочка кончала почти непрерывно на протяжении двадцати пяти лет. В конце концов, ей приелись оргазмы, и ей захотелось других ощущений.

Она хочет выйти замуж и жить в нормальном доме, где нет разложившихся трупов и где не шныряют вонючие звери, что вынюхивают мертвечину и сами пахнут мертвецом. И в это мгновение ее дедушка входит на кладбище и говорит своему скверному сыну, что он должен жениться.

– Никогда. А что до детей, так я лучше умру.

Девочку обижает, что мальчик не хочет на ней жениться. В первый раз за все время она усомнилась в его любви.

Так отец отомстил сыну.

Вместо того чтобы жениться на девочке, мальчик ебет ее еще чаще. И чем чаще она кончает, эта девочка, которая с виду – вылитый мальчишка, тем сильнее она сомневается в его любви.

И как только он понимает, что она сомневается в нем и в его любви, у него возникает желание освободиться. Отделаться от нее. И он делает так, чтобы она кончала еще неистовее.

И она понимает, что он больше ее не хочет.

– Какой прок от этого сексуального тела, – вопрошает она, – которое хочет и в то же время боится?! Какой прок от этого тела, которое отстраняется от того, чего хочет?! Зачем мне сознание, которое невыносимо? Уж лучше – беспамятство. – Она пытается убежать от себя и сжигает себя.

Мальчик, конечно же, узнает обо всем последним: что девочка выжгла себя и ушла от него навсегда. Он идет к ее телу. Берет горсть черных углей и втирает себе в кожу. Прикасается к ее крови. Бережно поднимает над головой это обугленное существо, которое было его подругой. И начинает кружиться на месте, быстрее, быстрее – теперь, когда он воссоединился с крысой, в кружащемся вихре. Руки бьются о ветви деревьев, о камни, что осыпались во вселенную. Он и она ничего не чувствуют.

Все, что от нее осталось, болтается у него на шее, наподобие крабовых лапок.

Его сперма растекается по миру.

Пока у нее остаются какие-то волосы, они хлещут по звездам.

Раздраженный запахом собственной спермы, мальчик кружится еще быстрее, так что тело девочки разлетается на куски. Глаза вылезают из орбит.

Не осталось уже ничего. Никого. В этом мире. Только – пизда. Этой девочки. На ближайшем дереве болтается мертвая птица, что забыла на ветке свое сердечко.

У него еще остаются глаза, и он видит, как ее пизда падает в разлом. Это и есть конец света. Теперь у него больше нет глаз. Как будто ему оторвало голову.

Миру нужно начаться заново.

У него нет головы, но он все равно видит сны. Сны всегда об одном и том же: как он умоляет девочку вернуться к нему, потому что не может жить без нее. И вот тогда-то он и начинает ее искать.

Искать сокровище этого мира.

# Девочки-пираты

## ИСТОРИЯ КОРОЛЯ КИСКИ

*Киска, что вечно витает в мечтах...*

Детство закончилось, когда Киска узнала, что забеременела. Тогда ей было без разницы, кто отец. Или, может быть, разница все же была.

### **Как она обрела имя:**

Она ничего про него не знала. Знала только, что он приехал из-за океана. Когда они трахнулись во второй раз, он сказал, что был под метадоном. Но сейчас у него закончились все запасы, так что он пытается завязать, и поэтому больше не сможет с ней трахаться.

Киска была доброй девочкой. Ему надо было укрыться, забиться в нору, и она сама предложила ему пожить у нее. Ей ничего от него не нужно. Они будут просто друзьями. Через три дня она выгнала его...

В то время Киска занималась художественным перформансом. Это так называлось. Она даже кое-что зарабатывала, хотя это были сущие гроши. Когда незнакомец сбежал, она отправилась в турне.

Во вторую неделю турне у нее должны были начаться месячные. Но они не начались. В первый раз в жизни ей пришло в голову, что она может забеременеть.

Она-то считала, что с ней никогда не случится ничего подобного. Но как только она поняла, что такая возможность все-таки существует, она уже не сомневалась, что именно это с ней и случилось. Она твердо решила, что будет делать аборт. Сразу после турне. Или, может быть, даже раньше.

До этого раза она была на сто процентов уверена, что не забеременеет никогда, потому что не хотела детей. Она и сама толком не знала, почему она так не хочет детей — ведь каждая женщина хочет стать матерью.

Киска отменила турне.

Она пошла к гинекологу, которого нашла по телефонной книге, и сказала ему, что беременна.

Клиника, куда пришла Киска, кажется, специализировалась на абортах. Гинеколог, который на самом деле был практикующим фельдшером, сказал ей, что аборт можно делать не раньше, чем на седьмую неделю беременности.

Киска ждала, пока не пройдет этот необходимый срок в шесть недель. Все это время она не жила, а скорее, *влачила существование*. В этот период, по словам самой Киски, ее тело стало каким-то чужим. Тело как будто ее предавало — потому что груди набухли и постоянно болели, так что она не могла спать в своей любимой позе; потому что ей постоянно хотелось есть, и в то же время ее постоянно тошнило; потому что ей хотелось оставить ребенка.

Она не знала, стоит ли говорить незнакомцу, что теперь у них может быть ребенок. Она долго думала и решила его не грузить. Потому что грузить человека — это невежливо.

— Мне нельзя заводить ребенка, — говорила она себе. А поскольку ребенок уже «завелся», она изобретала причины, почему ей нельзя рожать. Потому что у нее нет денег. И в ближайшее время не будет. Денег вообще никогда не будет. И отца у ребенка тоже не будет.

До аборта оставалась еще неделя. Ее единственная надежда — хотя она и не знала, что это значит «*надежда*», — прервать беременность естественным образом. Ее иммунная система еще ни разу не сталкивалась с воспалением тазовой области и инфекциями, которые могут развиваться после аборта. Она заварила себе целый чайник болотной мяты и пила настой чашка за чашкой, пока ей не стало дурно. Она выждала пару часов и опять принялась наливать мятой.

После трех дней непрерывного мятного чая, она проснулась в холодном поту. Но не из-за набухших грудей. Ей приснился кошмар. И этот последний кошмар был гораздо страшнее. Она убила свою дочь.

Проснувшись — или, вернее, вырвавшись из кошмара, — она поняла, что это правда. Ее врач, который был не гинеколог, а просто врач, согласился с ней.

— После аборта, — сказал он ей, — ты еще будешь долго за это расплачиваться.

Поскольку Киска всегда считала, что женщина вправе сделать аборт, если она так хочет, ей пришлось как-то смириться с мыслью, что быть человеком, быть женщиной — это значит, помимо прочего, быть потенциальным убийцей. А иногда — даже не потенциальным, а состоявшимся убийцей.

Кроме аборта, ей больше ничто не поможет.

Вечером накануне чистки ей позвонил тот незнакомец. С тех пор, как они расстались, он не звонил ей ни разу.

— Ты будешь папой. — Слова вырвались сами собой. Киска совсем не хотела этого говорить. Она была не в себе.

Он сказал, чтобы она оставляла ребенка. Его ребенка. Он говорил без умолку. Она — четвертая женщина, которая от него заела. Раньше ему не хотелось детей. А теперь вдруг захотелось, чтобы у него родился ребенок. Такое с ним в первый раз. Наверное, это не просто так. Может быть, это значит, что он стал взрослым.

— И на что мы с ним будем жить, с ребенком?

— Если нужно, я помогу с деньгами.

— Ты не можешь «помочь мне с деньгами» и тем ограничиться. — На секунду она забыла, как его зовут. — Ты — отец ребенка, то есть, ты за него отвечаешь точно так же, как я. Причем не только в

материальном плане. Но ты не можешь быть ему отцом, моему ребенку, потому что у нас с тобой нет никаких отношений. Мы знали друг друга всего неделю.

— Да, ты все правильно говоришь.

— Ответственность перед ребенком — это, вообще, очень сложный вопрос. Я росла без отца, и посмотри на меня: не человек, а ходячий облом. Я поэтому и обламываюсь всю жизнь, что росла без отца. Потому что я просто боюсь сближаться с людьми. И я не хочу, чтобы мой ребенок все это повторил. Я не хочу, чтобы у него было такое же детство, как у меня.

Она не сказала тому незнакомцу, что завтра идет на аборт.

### **Теперь я расскажу эту историю по-своему**

В ту ночь, потому что с тех пор, как я забеременела, вокруг меня была только ночь, одна из моих любовниц вытащила меня на прогулку по городу. Я не помню, что это был за город — какой-то город, где я тогда жила.

Она привела меня в антикварную лавку. Я не хотела *туда* идти, потому что антикварные лавки — кладбища мертвых вещей.

Лавка, куда меня привела подруга, располагалась на каких-то задворках. Когда мы ее разыскали, она тряслась, как умирающий зверь, запертый в клетке. Все внутри было заполнено мертвой одеждой, кусками кожи, которую кто-то когда-то носил, пока она не пожелтела и не стала слоиться.

Мне давно нужно было купить себе что-нибудь из одежды. В городе стало уже совсем холодно. У меня были какие-то шерстяные вещи, но по ним расползлись дырки. Я искала себе подходящий свитер. И здесь, в этой лавке, я нашла именно то, что хотела: потрясающие свитера, сексуальные свитера, каких больше не делают. Я примерила свитер. Потом — еще один. И еще. Свитер за свитером. Такие хорошие, мягкие. Один лучше другого. И среди них не было двух одинаковых.

Мой проводник, наверное, был парнем. Потому что он мерил мужскую одежду.

Я ненавижу, когда не могу трахнуть с тем, с кем мне хочется. Я зашла в примерочную кабинку. То есть, в подобие кабинки. В самом дальнем конце магазинчика, в уголке.

Вместо двери там была красная бархатная занавеска.

Я глянула в зеркало — на себя в зеленом свитере с таким длинным ворсом, что он закручивался колечками. В ворсинках прятались зеленые стекляшки. Плотный высокий ворот не душил меня, как большинство таких воротов. Глядя на себя в зеркало, которое было старше и выше меня, которое было еще и снаружи, я поняла, что я очень красивая.

Второй свитер был черный, но такой тонкий, что сквозь него просвечивала грудь. На груди не было сосков. Чем больше я обнажалась, тем красивее становилась.

Свитер за свитером.

Я хотела купить их все. Но мне бы не хватило денег. Совершенно без всякой причины, просто по прихоти, я выбрала номер четыре. Я взяла этот четвертый — все остальные свитера, которые я примеряла, так и остались валяться на грязном полу, — и вернулась в примерочную кабинку. Я думала, там никого нет.

Но там был мой бойфренд.

Он сказал мне и девушке, которая была со мной, что он от меня уходит. Для меня это было полной неожиданностью.

В это мгновение мир остановился.

Так началось наше с МД, моей любовницей и подругой, путешествие по забытому городу.

Я не помню, чтобы раньше там было столько народу. Я не знаю, кто был за рулем той машины, что везла нас по улицам.

...я пока еще не понимала, что мы едем в самое сердце города...

...я видела женщин в черном, они толпились под ярко-розовым навесом какого-то кинотеатра...

...все улицы были коричневые...

...улица, по которой мы ехали, проходила через весь город из конца в конец...

...на стене такого же цвета, как и улицы, я увидела афишу. Там было написано: «Майя Ангелу»<sup>1</sup>. Улица была как тоннель, где все здания были сложены из бурого песчаника. Небо над этой улицей было извечно серым, лишенным света уже насовсем. Когда я

---

<sup>1</sup> Майя Ангелу (р.1928) — афроамериканская поэтесса и активистка правозащитного движения.

глянула туда снова, женщины под «Майей Ангелу», все одетые в черное, выстроились в длинную очередь. Теперь их стало еще больше.

Я не понимала того, что видела. Но это была не галлюцинация, потому что моя подруга тоже все это видела.

— Почему столько женщин в черном ждут Майю Ангелу? — спросила я у нее.

Я еще раз оглядела улицу. Перспектива напоминала мир на картинах художников Ренессанса: когда расположение в пространстве, и особенно — относительно бесконечности, определяется видением зрителя.

Я увидела длинную очередь из одних женщин в черном, что растянулась по улице, насколько хватало глаз, и загибалась за угол — туда, куда я уже не могла дотянуться взглядом. Все эти женщины были в монашеском облачении.

— Они подражают Коффе, — ответила мне МД.

— Коффе?

Как только я это сказала, я почему-то подумала про писателя Честера Хаймса<sup>1</sup>. Я понятия не имела, какая может быть связь между Честером Хаймсом и Коффе.

— Коффе — личность действительно привлекательная, — объяснила мне Маргерит, — потому что все, кто живет в этом районе, ненавидят «РС&Е». — «РС&Е» — это местная энерго — и газоснабжающая компания.

Хотя я тоже терпеть не могла все энерго — и газоснабжающие компании, с которыми мне приходилось иметь дело, я все равно не могла понять, какая связь между ненавистью к «РС&Е» и Коффе. На сознательном уровне. Но на подсознательном уровне мне все было понятно.

МД продолжала свои объяснения:

— Когда сюда приезжала Анджела Дэвис, почти никто не пришел на ее выступление.

Я согласилась.

— И, в отличие от женщин, что собрались на выступление Майи Ангелу, никто из тех, кто пришел встретиться с Анджелой Дэвис,

---

<sup>1</sup> Героем детективов Честера Хаймса (1909-1969) был сыщик Коффин Эд.

не хотел бы быть на ее месте. — Я принялась анализировать культуру эпохи массовой информации. — Тех, кто хотел бы быть Коффе, значительно больше, чем тех, кто хотел бы стать Анджелой или Майей Ангелу. Но мы не знаем, кто такая Коффе.

МД заметила, что Анджела выступала в центре, а в центре живут, в основном, белые богачи. И здесь расположены все музеи изящных искусств и художественные галереи.

— Туда никто больше не ходит, в центр.

Но вместо этого она сказала:

— Туда никто больше не ходит, вниз.

Мы сошли вниз, где больше не было бедных.

Дождь покрасил все улицы темным цветом. Я уже видела такой дождь — в Берлине.

— Кис-кис-кис, — позвала я.

Мы уходили из антикварной лавки, забитой мертвой одеждой, а впереди по серому асфальту бежала кошка. Такая маленькая, почти котенок. Она бросилась мне под ноги, забежала назад, потом — снова вперед. А потом скрылась из виду.

В этом свете, который был наполовину тьмой, я позвала ее:

— Кисонька, киска.

И кошка вернулась ко мне. Она всегда возвращалась, когда я ее звала. Она путалась у нас под ногами — у меня и у моей подруги, — пока весь мир не превратился в спутанный клубок. И в это мгновение кошка выбросила лапу вперед. Как будто хотела меня ударить.

Она просто хотела ко мне прикоснуться, но не знала, как это сделать иначе. Я ей понравилась.

Кошка сказала мне, и я ее поняла:

— Я тебя никогда не брошу.

Я как будто получила наказ на тайном, известном лишь нам двоим языке. Я поняла, что согласно своей кошачьей природе, она гуляет сама по себе, ходит, куда ей вздумается, и уходит, когда ей захочется, часто пропадает на несколько дней, но если она мне нужна, она будет ко мне возвращаться. Всегда.

Мне это понравилось.

Так я обрела свое имя.

## Как она стала преступницей:

В первый раз Киска увидела своего гинеколога в день аборта. У него были длинные волосы, собранные в хвост, и поэтому она решила, что он, наверное, бывший хиппи. Она была почти в полной отключке — из-за таблеток, которыми ее накачали.

Они долго болтали о природе поэзии, а потом Киска спросила, когда начнется аборт.

Хиппи ответил, что он уже скоро закончится. Она ощутила вспышку боли, но боль быстро прошла.

Аборт завершился. За миг до конца этого мира — а Киска даже не поняла, что происходит.

Не существует ни мастерского изложения, ни реалистической перспективы, чтобы создать подходящий фон для общественных и исторических фактов.

Через две недели после аборта Киска пришла на осмотр. Фельдшер — может быть, даже тот самый, который смотрел ее в первый раз, — сказал, что она все еще беременна.

— Но я не чувствую себя беременной.

— Были случаи, когда женщины рожали после аборта. У нас есть подозрения на беременность, но мы пока не уверены.

Киска спросила, а когда они будут знать точно. Она была в полной растерянности — ее тело было в растерянности.

— Через пару недель, не раньше. Но вы успокойтесь, расслабьтесь. Вообще, забудьте, что мы вам тут сказали. Может, еще до конца этого двухнедельного срока у вас придут месячные, и вы будете знать уже точно, что вы не беременная.

«*Время возможностей*» — так назывались эти две следующие недели. В течение этого срока фельдшеры и врачи — похоже, их было по двое, — высказывали предположение, что у Киски — внематочная беременность.

Две недели прошли. Месячные так и не начались. Врачи решили провести обследование, чтобы выяснить, есть там кто-нибудь у нее внутри или нет.

Ей сделали снимки матки. Изнутри. Там вроде бы все было чисто. Но снимки были не очень качественными.

Потом они — а «они» в этом мире всегда означает «врачи», — сделали Киске анализ крови. Анализ показал, что Киска беременна.

— Это значит, — объяснила ей фельдшер, — что беременность, может быть, есть. Или ее, может быть, нет. Если вы беременны, мы не знаем, где... — она на секунду умолкла, подбирая подходящее слово, — ...оно... прячется. — Она сверилась с календарем. — Если это внематочная беременность, тогда труба уже должна лопнуть. То есть, вот-вот лопнет.

— Что? — тупо переспросила Киска. Она уже дошла до того состояния, когда ярость и злость выливаются в полное отупение.

— Начиная с сегодняшнего дня, если вам вдруг станет плохо, или вы упадете в обморок, немедленно поезжайте в ближайшую больницу.

«Лучше сразу убится», — подумала Киска, но вслух сказала совсем другое: что не знает, где у нее ближайшая больница. Она вообще ничего не знает про больницы. Она всегда думала, что больницы — это такие места, где убивают людей. И у нее даже нет медицинской страховки.

— Тогда обратитесь в детскую больницу.

Они обсудили этот вопрос.

В тот же день, но уже ближе к вечеру, Киска позвонила одному из врачей, у которых она наблюдалась.

Он был в машине — в одной из своих машин, — и треск помех в трубке был громче, чем его голос.

— Может быть, кто-нибудь все-таки сможет определить, есть у меня внематочная беременность или нет? Должны же быть в этом городе специалисты, — сказала Киска. — Я заплачу. У меня есть деньги.

— Мы будем знать уже точно, есть она или нет, если у вас разорвется труба.

Уже потом, вспоминая тот вечер, Киска поняла, что именно в это мгновение она забыла о всякой этике, и особенно — об этике в отношении аборт.

В течение следующих двух-трех дней она постоянно названивала врачам.

И, наконец, это случилось.

— Мы тут подумали и решили, как нам узнать, есть у вас внематочная беременность или нет. Мы вам сделаем второй аборт. И если все пройдет нормально, у вас никакой беременности не будет.

Киска не поняла логики. Впрочем, она вообще не понимала логики этого мира.

Она приняла все обезболивающие таблетки, которые ей дали в больнице; ей снова сделали чистку, все было точно так же, как в первый раз; и она снова спросила, и что теперь — она все еще беременна или уже нет.

Врач, который делал аборт, сказал, что на этот раз кое-что вышло, но он так и не понял — что.

Для того, чтобы понять, что это было, *им* нужно снова взять кровь на анализ. Ноне сейчас, а через два-три дня, когда кровь обновится.

Анализ показал, что Киска больше не беременна.

### **Теперь я расскажу эту историю по-своему**

Я была бедной, и поэтому мне приходилось постоянно себе доказывать, что я богата. Я начала ходить по дорогим магазинам одежды.

Мне хотелось черное платье.

В магазине, *где я однажды видела черное платье*, было два искусственных водоема. Прямо посреди зала. Один — поменьше, другой — побольше.

Худощавый высокий мужчина разливал по бутылочкам черную воду и раздавал людям, чтобы они это пили.

Вода пачкала всех, кто ее выпивал. Как чернила.

Среди зараженных этим питьем была одна девушка с черными волосами.

Время внутри магазина было какое-то ненормальное. Как-то днем, или ночью, худощавый высокий мужчина увидел девушку, точную копию той, с черными волосами, которую он заразил. Вот почему он влюбился в нее без памяти, перестал поить людей черной водой и ушел из магазина, мечтая быть рядом с любимой до конца времени, сколько б его ни осталось.

Я зашла в тот магазин. У меня не было денег — и ни малейшей возможности заработать в нашем урбанистическом обществе, — но мне ужасно хотелось то платье, так что я просто взяла его и пошла. Я не бежала; я не хотела устраивать представление из своей вины. Я просто вышла из магазина. Спокойным шагом.

Так я нашла себе дело, которым и занялась.

Воровство — неотъемлемая составляющая любого большого города. Каждый город рождается, причем, рождение города — это процесс непрерывный, из конфигураций желаний и мыслей. Каждый город — живой. Этот город был патриархальным, из тех городов, что отрицают всякое существование, кроме собственного, потому что он появился из мыслей исключительно рациональных и моралистических.

Город был патриархальным, и, стало быть, нетерпимым: здесь всегда правили белые либералы, крепко державшие в своих руках экономическую власть. Но теперь основная часть денег поступала от общины иммигрантов из Гонконга. Дети из этих иммигрантских семей объединялись в уличные шайки. Они промышляли в самых значных районах города, часто — вместе с шайками испанцев и черных, только эти азиатские мальчики отличались особой жестокостью и болезненной тягой к насилию. С ними никто не мог справиться. Белые либералы, которые пока оставались в городе, ничего об этом не знали. Не знали и знать не хотели. То, что они не могли контролировать в этом городе — для них этого как бы и не существовало. Они делали вид, что у них все под контролем; что они знают, как остановить эту гангстерскую войну. Они издавали законы, которые, как они утверждали, положат конец насилию и разгулу преступности. Защитят детей. Эти законы объявляли детей, что входили в уличные шайки, безжалостными убийцами, таким образом, превращая их в закоренелых преступников. Власти занялись розыском всех зараженных черной водой.

Хотя город теперь был скорее цветным, чем белым, либералы и остальные белые решили, что всех зараженных следует уничтожить. Всех до единого.

Чтобы зло не распространилось по миру. Зло тех, кто пил черную воду.

Круг поисков неумолимо сужался. Очень скоро нам станут известны имена всех, кого тронула черная порча. Очень скоро мы будем знать, где прячется главное зло. Я поняла, что зараза меня не коснулась. Что я чиста. Но потом я подумала, что внутри у меня все же есть пятнышко — темный мазок, отпечаток воспоминания о том, как мои губы коснулись черного зелья.

Я сказала себе: это еще ничего не значит. С виду я совершенно здорова. Я не из этих чудовищ. Я сказала себе: я сойду за нормальную. Я такая же нормальная, как и всякая добропорядочная горожанка.

А круг поисков все сужался. Я вернулась в тот магазин, где украла черное платье.

Именно там началось сотворение мира.

Оказавшись внутри, я увидела, что та девушка с черными волосами, которая прежде сбежала отсюда, не умерла. Хотя она и пила черную воду. Может быть, вместо того, чтобы умереть, она родила трех уродцев. Я это видела. Трое детишек — три маленьких твари, — ревно носились по залу, который теперь был значительно больше, чем раньше. Теперь это был уже не совсем магазин, потому что торговый зал соединился с подсобными помещениями, где жили и работали модельеры.

Там царил беспорядок. Одежда и ткани валялись повсюду.

Когда-то хаос был магазином одежды.

Один из этих детей был невообразимо высоким, так что тело под его головой казалось сплошными ходулями. Голова еле держалась на тонкой шее — казалось, она вот-вот оторвется и упадет. У него на закорках сидел лилипут. Крошечные ножки обвивали тощую шею, словно сношаясь с ней.

Само существование этих уродцев было как откровение, раскрывшее тайну. Самую страшную тайну из всех. Как будто *узнать* означало *увидеть*, я узнала, что тоже заражена. А *увидеть* было равнозначно *принять и смириться*, потому что я видела именно то, что вынуждало меня принять горькую правду. Принять и смириться с тем, что я скоро умру.

Я поняла, что уйти безнаказанным невозможно. Так не бывает. Нельзя разорвать цепочку причин и следствий: я украла платье; теперь я отвечаю за свой проступок. Теперь я умру.

Я знала, что смерти не избежать.

Я оглядела зал — всех, кто был в этом зале. Мужчину, который вычерпывал черную воду из водоемов. Черноволосую женщину. Уродца, похожего на живые ходули. Лилипута с монголоидными чертами. Всех остальных, которые были еще более странными и

кошмарными. Я не знала, кто из них — я. Я смотрела, смотрела, смотрела... но не находила себя.

И вот тогда-то я и поняла, что я все-таки избежала смерти, потому что не знала, кто я.

## **ТЕПЕРЬ Я БУДУ РАССКАЗЫВАТЬ ВСЕ САМА, НА СВОЕМ СОБСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ**

### **Конец воспоминаний о детстве**

Я сказала:

— Никаких больше аборт. Преступление и вина больше не будут происходить из «печальных последствий».

Я только что вышла из здания больницы; мысленно я все еще оставалась там. Я заглянула к себе в трусы.

У меня были простые хлопчатобумажные белые трусики вроде тех, что раньше носили школьницы. Теперь они вообще не носят нижнего белья. Там, с одной стороны, протекла кровь.

Решая, что делать по этому поводу, я придумала такой план: Во-первых, я брошу своего бойфренда. Кстати, до этой минуты я и не знала, что у меня есть бойфренд. Во-вторых, мне надо где-нибудь уединиться и поменять прокладку, потому что те две прокладки, которые были у меня в трусиках, одна поверх другой, уже не удерживали кровь, что в них накопилась.

Я стала искать, где можно поменять прокладку.

В этом городе сумерек был единственный настоящий дом — поэтаенный дом. Дом — как лес.

В этом доме я нашла комнату, которую искала. Место, где поменяться. Комната была частично открыта, частично замкнута, как и все прочие помещения в этом доме. Будь это нормальная комната, там была бы дверь. Но двери не было, как не было и стены, в которой должна была быть дверь.

Открытое пространство порождало ощущение уязвимости, но там хотя бы было темно.

Убранство и оформление комнаты было бессовестно «содрано» с типичной нью-йоркской квартиры 50-х. На стенах — обои в розочку. Вся мебель — зеленая.

Я сказала, словно была не внутри, а снаружи:

— В это время года осветительные приборы как-то особенно живописны.

Как будто фраза, произнесенная вслух, создала пространство, где что-то могло бы произойти, перед стеной, которой не было, встал мужчина. У него была панковская прическа.

Я не могла поменять прокладку, пока на меня смотрел незнакомый мужчина, и я сказала ему, чтобы он уходил.

— Уходи. Брысь отсюда.

Я не могла объяснить, почему я его прогоняю.

Когда он сказал, что сейчас уйдет, мне стало неловко и стыдно.

Когда он ушел, я зашла за выступ в стене. Там слева было что-то наподобие отгороженного уголка, и там была ванная. Очень даже симпатичная ванная. Ее, наверное, обставляли одновременно с комнатой. Белый унитаз, белая ванна с занавеской в розочку. Все здесь было каким-то крошечным — взрослому человеку не повернуться.

Но мне все-таки удалось запахать использованные прокладки — завернутые сперва в туалетную бумагу, а потом в пластиковую обертку от новой прокладки, — в миниатюрное мусорное ведерко под раковиной....

...мне нужно было опять поменять прокладку. Как будто я не меняла буквально вот только что. Я не знала, куда мне идти.

Освободившись после аборта, я не знала, куда идти.

Потому что мне некуда было идти.

Я бродила, не разбирая дороги, по этому дому, где не было света. В конце концов, я дошла до спальни. Дверь была распахнута. Я заглянула туда и увидела мужчину. Я его знала. Он был моим лучшим другом. До того, как я обрела имя.

Раньше он был поэтом. И, наверное, так и остался поэтом. Он сидел на кровати и разговаривал по телефону. Он обожал болтать по телефону. Когда мы были друзьями, к нему невозможно было дозвониться, у него было занято постоянно, и мне приходилось врать телефонистке, что у меня очень срочное дело, буквально вопрос жизни и смерти, чтобы меня с ним соединили. Я знала, что он меня не заметит — когда он болтает по телефону, он ничего вокруг не замечает. Мне совсем не хотелось попадаться ему на глаза,

потому что мне до сих пор было больно при одном только воспоминании о ссоре, которой закончилась наша дружба.

Во время той ссоры — буквально перед самым моим абортom, — он мне сказал, что он один из немногих мужчин, которые понимают, что это такое, быть женщиной.

Но мне нужно было поменять прокладку. И я пошла в соседнюю спальню.

Там спали двое мужчин. На двух узких кроватях, не соприкасавшихся друг с другом.

Я не могла поменять прокладку, потому что повсюду были мужчины. Но если я не избавлюсь от старой крови, случится страшное: моего тела коснется зараза — воспаление, порча, болезнь.

И я просто встала перед всеми этими мужчинами. Меня уже не волновало, увидят они меня или нет. Я поменяла прокладку прямо в коридоре.

Детство официально закончилось.

## **Как я пыталась стать частью нормального общества**

Оправившись после чистки, я опять начала ходить по магазинам одежды.

Я вернулась в тот магазин, где раньше обитали странные люди. Теперь же там всюю совокуплялись на удивление гибкие и проворные гетеросексуалы.

Мне больше не было места в этом магазине, где я когда-то нашла себе черное платье. Черное, двуполое. Бисексуальное.

Теперь вся одежда, которую я там видела, подходила только для тел секретарей и охранников, должностных лиц и служащих.

Мне хотелось лишь одного: сбежать из этого места, где раньше я себя чувствовала, как дома. Это был мой единственный дом в эпоху аборта.

Но если я ничего не куплю, у меня ничего не будет. Вообще ничего. Я сказала себе: мне нужно что-нибудь купить, обязательно нужно что-нибудь купить, пусть даже у меня почти нет денег.

Нужно найти хоть что-то, что мне захочется, чтобы оно было моим.

Так я определила для себя слово «одежда».

Единственное, что мне более-менее там приглянулось — серый узкий комбинезон. На самом деле, он мне не так уж и сильно понравился. Из разряда: не больно-то и хотелось. На бирке стояло: «Gaultier». Я взглянула на ценник. 300 долларов.

Я смотрела на этот комбинезон, ласкала его взглядом, хотя мне совсем его не хотелось. Но я знала: мне нужно хотеть хоть что-то.

Чтобы заставить себя захотеть эту вещь, которую я не могла получить, потому что была бедной, я стала трогать одежду, которую я никогда бы не стала носить — вещи, которые я не надела бы на себя, даже если бы мне приплатили.

Короткие шерстяные кофты типа тех, что меня заставляла носить моя бабка, когда я была совсем маленькой.

Продавщица, исполняя свою работу, принялась мне втолковывать, что мне нужно и что я хочу. Она пыталась промыть мне мозги и уговорить надеть на себя одежду гетеросексуалок.

Мне стало противно и захотелось уйти немедленно, но я выбрала другой путь. Вглубь магазина. В примерочную кабинку. Туда, где я оставила свою одежду.

Но там ее не было.

— Где моя одежда? — спросила я у продавщицы, которая смотрела на меня с презрением, потому что я была не такая, как все.

Эта сука ответила мне с наглой мордой, что она убрала мои «вещи» в пластиковый мешок.

— Потому что сюда, в примерочную кабинку, заходят и другие покупатели.

«Пластиковый мешок» означает «мешок для трупов».

Она протянула мне коричневый бумажный пакет.

Внутри была пара промокших туфель.

Я была такой бедной, что я даже не знала, что делать дальше, и я сделала то единственное, что еще умела. Я вернулась жить к матери.

Она была уже не такой бедной, как раньше. Теперь она жила в большом доме в пригороде. Когда я была маленькой, она меня к себе близко не подпускала. Может быть, потому, что она жила в достатке, она разрешила мне поселиться в ее доме.

Это меня удивило. К тому времени я уже смирилась с мыслью — пусть даже и через боль, — что она меня ненавидит.

Я поселилась у матери, вместе с матерью. В первый раз в жизни я почувствовала себя в безопасности. Мне было так хорошо и спокойно, что если бы мир, который был снаружи, вдруг собрался умереть, я бы осталась в доме и ничего бы не изменилось.

До того, как настала пора сексуальности.

Я была внутри, отделенная от всего, что снаружи, и смотрела на мир сквозь большое окно. Однажды я выглянула в окно и увидела, что на карнизе стоит мужчина.

Я поняла, что он хочет вломиться в дом. Как будто я никогда раньше не видела ни одного мужчины. Когда я была маленькой, у нас в доме не было мужчин. Кожу покалывало, в ноздри был запах моего собственного пота: все, чего так боялась мать, все, что я научилась прятать в себе, теперь было снаружи — там, за окном. Этот мужчина — или лишь образ мужчины, рожденный из столкновения двух страхов, внутреннего и внешнего, — собирался разбить стекло.

У этого образа было два имени: *грабитель* и *мудила*. Мудила — а в то время, до возвращения пиратов, все мужики были законченными мудаками, — что-то там делал с оконным стеклом, чтобы вломиться ко мне. В меня. Я это знала. «*Знать*» значит «*вызвать к жизни*». Зная, что он собирается кончить в меня, я завизжала.

После этого в теле матери поселилось какое-то зло. Потому что у нее в доме больше не было безопасно. Теперь он был открыт для всякого злобучего незнакомца — для любого, кто хочет войти. На самом деле, именно так и устроен мир. Я визжала. Теперь сюда мог проникнуть каждый. Я была абсолютно одна. Внутри. И я знала, что мне никто не поможет.

Никто.

Мамы вечно не было дома. Она не хотела со мной общаться. Она меня знать не знала. Я всегда буду одна — до скончания времен и потом, когда время закончится. Как только я это осознала — осознала сполна, до предела, — что я всегда буду одна, я поняла, что одной мне не выжить. Мне нужно быть с кем-то. Из-за всей этой открытости.

А потом пошел дождь. Как будто обрушились стены дома. Кажется, дождь проникал сквозь оконные стекла. Сочился сквозь трещинки. В теле моей проклятой матери. Тело матери — проклято.

Больше не было никакой разницы между внутри и снаружи. На окнах не было штор, и каждый мог заглянуть к нам в дом.

Я не знала, как быть женщиной. Я не умела шить шторы. Шторы или саван для материнского тела.

Ее там не было.

В ужасе я выглянула в окно и увидела каких-то людей на гравиевой дорожке. Это зрелище, сам акт видения, подсказали мне, как убежать из этого дома страха. Если я поменяю местами «внутри» и «снаружи», я окажусь снаружи, на черной гравиевой дорожке, по которой те люди спускались к реке.

Мужчина, которого я видела на карнизе, и еще какой-то мальчик сейчас были в доме. Это были воры. Я поменяла местами «внутри» и «снаружи» и присоединилась к ним. Мы стали красть у моей матери.

Вернее, они ничего не крали, потому что хотели всего и сразу. Они хотели разгромить дом, испоганить здесь все.

И я — тоже. Я хотела разгромить этот дом, дом моего детства. Которое было невыносимым.

Я хотела остаться с ними насовсем, с этим мужчиной и мальчиком.

Вот так я вышла наружу.

Мы слонялись поблизости от ее дома. Пинали ногами мертвую траву. Там не было ни одной собаки. Мать проехала мимо в автомобиле. Она стреляла в нас в упор, из окна машины. Я видела, что это мать. Хотя она была мужиком.

Пуля вошла в грудь мексиканцу, мальчику.

Я ушла от матери навсегда. Я жила с этим мальчиком. Кроме него, у меня не было никого. Мне больше некого было любить.

Из-за пули, засевшей у него в груди, он тяжело заболел, и я ухаживала за ним. Я о нем заботилась. Хотя заботиться о других — это было совсем не мое. Поскольку он сильно болел, мы с ним были как два ребенка.

Однажды он мне сказал:

— Киска, давай пройдемся по магазинам.

От радости я подпрыгнула на месте.

Мы решили «пройтись» по нижнему белью. Я буду мерить белье, не задерживая до конца шторок в примерочной кабинке, чтобы

все могли видеть в щелочку, как его руки ласкают мои соски, а потом — мои пальцы у меня во влагалище, частично укрытом черными волосами. Чтобы все могли видеть, как я кончаю. Или я сниму с себя всю одежду, прямо посреди торгового зала, и буду мерить белье на глазах у всех — чтобы все видели всю меня.

Это будет антикварная лавка, забитая мертвой одеждой.

Но вопреки всем нашим фантазиям мы оказались в большом универмаге. Большой зал освещали яркие лампы дневного света. Мальш, а не я — мальш, это я его так называла — примерил боксерские трусы, цвета морской волны. Такие яркие, что в них плавали рыбки.

Мне понравились другие трусы. Я хотела купить их для себя. Потому что я была эгоистичной сучкой. Ладно, мы можем купить одну пару трусов ему. Я ему так и сказала: мальш, одну пару мы купим тебе.

Потом я присмотрелась к нему повнимательней и испугалась.

— Ты хорошо себя чувствуешь?

Он становился все тоньше и тоньше.

Мой бойфренд заметно сдал. Хуже, как говорится, некуда. В то время мы снова вернулись ко мне в квартиру. И жили так, словно мы не собираемся никуда уходить. Наша кровать стояла у стены. Над постелью нависало маленькое квадратное окошко.

Мальчик позвонил кому-то по телефону и попросил, чтобы этот кто-то приехал к нам, потому что ему не хотелось, чтобы я оставалась одна. Мне стало страшно. Потому что больше всего на свете я боюсь остаться одна.

Я попыталась проанализировать, почему мне страшно. *Остаться одной в целом мире* — для меня это значило *остаться один на один с моей матерью*.

После этого мне захотелось, чтобы он прикасался ко мне, мой любовник. Прикасался бы и прикасался, не останавливаясь. Чтобы он делал то, что, как мне казалось, он делал всегда. Скользил своим членом мне между ног. Вонзался пальцами мне в кожу. Но я знала, что этого больше не будет, потому что он совсем ослаб.

Мы уже не могли заниматься сексом, но мы могли просто лежать в постели.

Как будто постель — это небо. Все, что было у нас внутри, простиралось снаружи.

Там, в постели, я сказала ему, этому мексиканскому мальчику:  
— Я никого никогда не любила. Только тебя.

## **Как я спустилась на самое дно мира**

Когда мальчик оставил меня в покое, я вышла из дома и села на мотоцикл.

Я заранее положила в сумочку на седле свою белую плюшевую кошку и убедилась, что ей там удобно.

Мы уехали вместе. Нам хотелось за город.

Я гнала мотоцикл по проселочной дороге: тонкий слой снега, грязного и затвердевшего, почти скрывал бурю грязь. Толстые белые линии разделяли дорогу на четыре полосы. По обеим сторонам дороги, но лишь кое-где, на большом расстоянии друг от друга, периодические возникали загородные дома в один-два этажа, наполовину утопленные в снегу.

Глянув вниз, под крутящееся переднее колесо, я увидела, что под коркой из снега больше нет никакой дороги.

Я знала, что не разобьюсь.

Вот так и закончился загород. Я оказалась у входа в черный тоннель. У меня не было выбора — только въехать туда.

Весь свет был черным. Стены начали загибаться влево, пол пошел под уклон; стены уже загибались так круто, что когда я взглянула вперед, мне показалось, что я сейчас соскользну. Заворачивать было проще, чем видеть.

В самом низу этих затяжных поворотов, все еще в тоннеле, стояли белые с оранжевым барьеры, ломаной линией перегораживая черный пол. Здесь мое путешествие завершилось. Мне пришлось развернуться на полном ходу. Мой мотоцикл не приспособлен к таким разворотам, но мне все-таки удалось не упасть.

Я развернулась и припарковалась у одного из оранжевых с белым барьеров. Напротив единственной стоянки были уличные декорации: асфальтовый тротуар. Стена какого-то здания. В окнах этого здания — киноафиши. Как будто я и сама очутилась в фильме.

Мне так хотелось попасть на ярмарку с аттракционами, что проходила за этим фасадом, но сейчас был как раз мертвый сезон, и все было закрыто.

Вокруг не было ничего, кроме времени. Лицом к лицу со временем, мне пришлось действовать: единственное, что я могла сделать в этом мертвом городе — пойти в кино.

Я вернулась к тем окнам и заглянула внутрь. Давали единственный фильм — голливудский. Такие глупости я не смотрю.

Для меня в этом городе не было ничего. Здесь, на самом дне мира.

Наверное, я отошла далеко от входа, потому что вдруг оказалось, что я поднимаюсь на лестнице школьного здания, огромного здания из красного кирпича. Внутри как раз начиналось кино.

Бесплатный сеанс.

В зале стояли ряды раскладных деревянных стульев.

Кино началось в темноте.

Это был фильм про каких-то бездомных, которые рассказывали о своей жизни. Глядя на эти скромные, не-Голливудские кадры, я поняла, что я — такая же, как они. Раньше я и не знала, что я бездомная.

Фильм закончился; снова стало темно.

Где-то на середине фильма я узнала, что это был запрещенный фильм, и что сейчас его в первый раз показали на широком экране.

Незнакомая девушка спросила меня, куда все подевались.

Я не заметила, чтобы кто-то выходил из зала во время сеанса, так что единственное объяснение было такое: ее разум, наверное, остановился на две-три минуты, пока шел фильм.

А потом я уже не различала ее и себя — исчезновение ее разума и моего.

А еще потом, поскольку *понять* означает *узнать*, я поняла, что сознание — это не разум, и что умирает сознание, а не разум.

Фильм закончился. Пора на выход.

Мы с моей новой девушкой пошли по длинному коридору.

Я не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я поняла, что оказалась в мире, где господствует визуальное.

Все стены этого коридора были сплошь покрыты рисунками — и коридора, и комнаты, куда нас привел коридор. Мне сперва показалось, что комната — лишь продолжение коридора.

Рисунки были выполнены в примитивном, наивном стиле: то ли их рисовали дети, то ли это была стилизация. Я могла забрать все, что хотела. Потому что это был мир визуального.

Я подошла к каждой картинке — рассмотрела их все. Но мне ничего не захотелось. И вот тогда я опять начала хотеть.

В комнате были растянуты транспаранты. В дальнем конце была дверь, а за дверью — еще одна комната, поменьше:

В центре стояли стойки с одеждой. У них там была распродажа. Я вошла в комнату, где была одежда, и рассмотрела одежду, как раньше рассматривала рисунки. Никому не нужные тряпки наподобие тех, что продают на Хэйт-стрит. На Хэйт-стрит в Хиппивиле. Единственное, что там было более-менее приличное, это блузка. Но у меня уже была точно такая же.

Все стены в комнате с транспарантами тоже были увешаны рисунками, как и в коридоре, по которому я пришла сюда со своей новой подругой. С той незнакомой девушкой. Только здесь были уже не картины на бумаге и на холстах, а комиксы. Книжки комиксов висели на стенах. Книжки, которых я никогда раньше не видела. Двери в страну чудес.

Двери в географические чудеса света, известные лишь мореходам.

Именно здесь, посреди чудес, на самом дне мира, я встретилась с панками.

Я научилась странствовать сквозь сны.

## **ИСТОРИЯ ОСТРАКИЗМ**

### **КОШАЧЬЯ ЛИХОРАДКА**

#### **Когда мне еще не исполнилось восемь**

У меня нет отца.

Я думала, что мужчина, который женился на маме, это и есть мой папа. Как только они поженились, она умерла. Мне было восемь, когда я узнала, что он мне не отец. Не настоящий отец.

Я продолжала звать его «папой», этого человека, такого доброго, ласкового и глупенького.

Мой настоящий отец отнимает сны.

Я выросла в уединенном, почти первозданном месте. Пока я не покинула эту часть мира, у меня не было друзей. Кроме собаки, уже

такой старой и дряхлой, что она казалась почти что мертвой, и мертвых людей. Мертвые люди жили на кладбище. Церковь без крыши, что торчала посреди кладбища, словно труп дохлого пса, была единственным зданием рядом с нашим домом. Все члены семьи, владевшей кладбищем и окрестностями, умерли.

Их фамилия была Карнштейн.

Кладбище — это было мое самое любимое место. Там я видела, как ангелы и мертвые люди делают постель. Мне хотелось прожить там всю жизнь.

Как будто я была в море.

Папа меня воспитывал, как мальчишку. Чтобы жениться на моей маме, он бросил свою первую жену. От первой жены у него был сын, с которым ему запретили встречаться. Так что он научил меня играть в бейсбол и в футбол, то есть, прежде всего — в футбол, потому что когда-то он был звездой университетской футбольной команды. Он не читал книг и вообще не интересовался культурой в каких-либо ее проявлениях.

Я была очень спортивным ребенком — как папа, — но в отличие от него, я любила читать. Глотала книгу за книгой. Больше всего мне нравились порнографические романы, хотя тогда я не знала, что значит слово «секс» и другие грязные слова. В то время невинности мой любимый рассказ совершенно не соотносился с сексом; это была просто сказка про нехорошую девочку:

Мальчик, у которого нет родителей, сидит верхом на змее — на змее, что толще мужского члена и длиннее тропы, соединяющей мертвых с живыми.

Этот мальчик ни разу в жизни не вымыл голову. Его волосы — спутанные и жесткие, словно волосы мертвеца. Не потому, что их никогда не мыли, а потому, что живущие в их лабиринтах голодные паразиты занимаются сексом друг с другом. И с каждым днем волосы делают все грязнее.

Мальчик живет в грязи. Из вещей у него нет ничего, кроме черепов. Только это не вещи, которыми можно владеть. Просто они живут вместе — мальчик и черепа мертвых. Змеи, что обвивают истлевшие кости, заползают в пустые глазницы, а оттуда в расщелины в волосах мальчика, а оттуда уже ему в уши. Они извиваются у него внутри. Они забывают, как развернуться и выйти наружу. И они засыпают у мальчика в голове — засыпают и смотрят свои змеиные сны. И если бы в эти минуты рядом с

мальчиком кто-то был, он бы увидел – она бы увидела, – что когда змеи спят и видят сны, мальчик выглядит так, словно он весь усыпан сверкающими самоцветами.

Отец всех кладбищенских змей, всех змей на свете, жил еще до сотворения мира. А потом, когда мир воплотился в творении, он превратился в залупу.

Мальчик любит играть со своей залупой точно так же, как любит играть с черепами.

Девочка, чем-то похожая на меня, только и думала, как бы ей трахнуть-ся с мальчиком. Как сделать так, чтобы он ее выебал – чтобы он сам захотел ей вставить. Она так изнывала по этому мальчику, что ей хотелось остановить время, когда они будут вместе – чтобы их секс никогда не кончался. Она хотела его всем своим существом, и ей было нужно, чтобы он тоже хотел ее так же бешено и безумно – что если бы он не сумел получить ее, раз, другой, третий, и далее до бесконечности... он бы умер, и умирал бы опять и опять, хотя он не мог умереть, потому что он даже не человек. Он – начало всего. И еще ей хотелось, чтобы потом, когда все закончится, между ними не осталось бы ничего. Потому что их секс должен остаться единственным, что было в мире. А после их секса не должно быть уже ничего.

Но пока что у них ничего и не было.

Эта девочка хочет хотеть. Мы с ней чем-то похожи – и внешне, и образом мыслей. Она, как и я, думает в двух направлениях: чувствует запахи и фантазирует. Она мучительно соображает: Как заставить его захотеть меня так, как мне хочется, чтобы он меня захотел? Но меня почему-то никто не хочет. Вообще никто. Она рассуждает так: Он – как наивный ребенок, потому что он в жизни ни с кем не общался, с другими людьми.

Хотя нет, поправляет она себя. Он общается с мертвыми.

Девочка получила хорошее образование, и она полагает, что из истории этого мира можно извлечь два хороших урока. Урок # 1: сексуальные желания человека никогда не бывают взаимными. Больше того, люди – жестокие существа. Урок # 2: тот, кто терзается сексуальным влечением, автоматически теряет всякую власть над объектом своего желания, и единственный способ вернуть себе хоть какую-то власть или хотя бы подобие власти – притвориться, что ты не испытываешь никакого желания. В конкретном же случае с ней и с мальчиком, единственный способ заставить его захотеть ее так, как ей хочется, чтобы он ее захотел – до безумия, до иступления, – вести себя так, словно он ей безразличен. Словно она никогда не хотела его и не хочет.

Она больше не будет его хотеть. И все же весь ее мир заключался в нем.

Человек, написавший рассказ, утверждал, что история — та же философия, а значит, история секса есть философия религии.

Он был такой грязный и злой, этот мальчик, и поэтому девочка, чем-то похожая на меня, не представляла, что надо сделать, чтобы его не хотеть. И она трахалась с каждым зверем, который хотел ее трахнуть, пока не прониклась уверенностью в себе — чтобы пойти, наконец, к тому, кто ее не хотел. Но прежде всего остального ей надо было с ним поговорить, и она забралась языком ему в ухо. Словно живая змея, ее язык проник в самую глубь его существа и выбрался с той стороны сознания. Пронзив царство мертвых насквозь. А потом затвердел. И тогда мальчик вспомнил, что секс вообще-то его не волнует.

Сколько девочек покончило с жизнью — из-за него.

Но девочка, чем-то похожая на меня, была такой же дрянной, как и он: когда она поняла, что его язык больше не твердый, она разозлилась. Он ее оттолкнул: пренебрег ее телом, не проникся ее иступлением — но это лишь распалило ее еще больше. Если такое, вообще, возможно.

История учит, помимо прочего, что клитор подобен заточенному ножу. Но когда девочка уже решилась вонзить в разозлившего ее мальчика свой убийственный клитор, он не дал ей совершить это ужасное злодеяние — он опалил ее пламенем и поджег ее плоть.

Она превратилась в быстرونую кобылицу, чтобы как можно быстрее добраться до ближайшего места, где есть вода. Из ее черных ноздрей валил дым, когда она мчалась по непролазным пескам.

Она с разбега влетела в воду и выпила ее всю, насколько хватало глаз, а потом — и всю воду в мире, потому что ее сексуальная жажда была неуемной и неутолимой, как это всегда и бывает у девочек.

А может быть, ей, этой девочке, незачем было вонзаться в мальчика? Может, ей стоило просто тихонечко поиграться с собой?

У меня не было никого, кто смог бы ответить на эти вопросы.

Но она все равно исходила мучительным вожделием к дрянному мальчишке, который не мог — не умел, не хотел — захотеть ее тоже, и решила достать его по-другому. Она больше не будет бороться с ним, кто — кого. И теперь он не сможет ее победить; он не сможет ее оттолкнуть.

Она сказала ему, что она будет его рабыней.

Еще до того, как началась история этого мира, мальчик возненавидел сам процесс воспроизведения себе подобных. Потому что его отец, неуемный

любовник и ебать, упивавшийся этим делом, самый растленный из всех отцов, занимался вот этим самым с его сестрой – хотя тогда в мире еще ничего и не было. И самого мира не было тоже. А в мире, которого нет, нет и деторождения, а значит, и разницы между отцом и сыном. И мальчик встретился и испугался. Нет, вовсе не потому, что отец занимался вот этим самым с его сестрой, а потому что в их мире, где не было ничего, грозило теперь появиться «что-то»: некое действие, свершившийся акт зачатия, – и совершенство, царившее в мире, где не было деторождения, будет утрачено навсегда. И тогда мальчик взял свой игрушечный лук и стрелы и выстрелил в отца, чтобы тот не успел кончить в его сестру. Выстрелил – но не попал. Но отец все равно удивился и вынул свой член из влагалища дочери. Он уже начал кончать. И его сперма разлилась повсюду. Обрушилась пенным потоком туда, где еще не было мира – в то время, когда еще не было времени. Так возникло начало рождения и смерти.

Однако было бы неправильным утверждать, что мальчик возненавидел воспроизведение себе подобных, потому что еще до того, как возникло воспроизведение и творение, не было ни мальчика, ни сестры, ни отца, а были только они, все трое. Когда мальчик выстрелил в своего отца, он зажег в нем огонь – огонь иступленного вожделения, – потому что все мысли мальчишки были заняты только одним: вожделением. Он хотел, чтобы в мире, где не было ничего, было лишь вожделение, которое длилось бы, и длилось, и длилось... и чтобы никто никогда не кончал, потому что само слово «кончить» происходит от слова «конец».

Мальчик решил для себя, что он будет ебать все, что движется, непрерывно – и никогда не кончать. Никогда. Он и вправду был мерзким мальчишкой. Все дрянные мальчишки хотят трахать девчонок, хотя девчонок они презирают. Но они делают все, чтобы их члены стояли торчком.

Задолго до встречи с той девочкой, чем-то похожей на меня, мальчик выяснил, что мастурбировать можно и внутрь – необязательно только наружу, – так что теперь ему уже и не придется кончать. Никогда.

Как это бывает у змей.

Как это всегда и бывает у гадких мальчишек.

А девочка все изнывала мучительным вожделением. Но просто хотеть его ей было мало. Ей хотелось, чтобы он захотел ее так, как ей хотелось, чтобы он ее захотел. Да, она стала его рабыней – только его ничего не дало. И тогда она решила, что хватит уже притворяться покорной. И снова вступила в борьбу. На этот раз она забралась языком ему в ухо и стала

нашептывать, что ему нужно кончить, нужно не меньше, чем ей самой, и что если он кончит, как кончает она, то он будет кончать, и кончать, и кончать – бесконечно.

Вот так и вышло, что мальчик стал трахать девочку.

Со мной ничего больше не происходило, пока мне не исполнилось восемь лет. Хотя нет: был еще один случай.

Я лежала в постели. Тогда я могла спать только на правом боку, засунув обе руки между ног – высоко-высоко, до предела. Потому что только в таком положении я себя чувствовала защищенной.

И хотя я себя чувствовала в безопасности, я никак не могла заснуть – в первый раз в жизни. На этой долгой дороге в погоне за сном я искала какой-нибудь образ, который меня защитит. Но ничего не нашла.

Наверное, это должно что-то значить?

А потом мне вдруг стало тревожно: я оказалась в каком-то лесу. Гибкие ветви хлестали меня по ногам. Мне казалось, что я теперь никогда не засну. Никогда в жизни.

И еще мне было страшно. Я пыталась заснуть, притворившись, что сплю – так я еще никогда не делала. Никогда. Но теперь я не знала, чем обернется сон.

Лес, где я очутилась, был густым, мрачным и темным. Я обернулась, и вдруг оказалось, что лежу рядом с девочкой – точно такой же, как я. Я помню, что не удивилась, что рядом со мной кто-то есть. Эта девочка. Значит, наверное, я ее ждала.

Она положила ладони мне на бедра, а потом обняла меня, скрестив руки у меня на животе. Обняла и уже не отпускала. Теперь я лежала, прижавшись спиной к ее животу и груди. Теперь я смогла заснуть.

В ту ночь мне вообще ничего не снилось. Я проснулась от странного ощущения – резкого, острого, обжигающего. Просыпаясь, я выкрикнула слова, которых не понимала.

Я проснулась, но мне казалось, что я все еще сплю. И мне снится сон. Я посмотрела на девочку. Она тоже смотрела на меня. А потом просто исчезла. И больше я ее не видела. Никогда.

Наверное, меня разбудил мой собственный крик. Я проснулась вся мокрая. Приложила руку ко лбу. Горячо. Я не знала, что со мной

происходит. Может быть, я заболела? Может быть, у меня жар? Я совсем растерялась. Я оглядела себя и даже потрогала между ног, чтобы понять, что не так.

Мои половые губы, лобок и внутренняя сторона бедер — все как будто припухло, налившись влагой.

Хотя я и знала, что накопление жидкости в организме — это совсем не опасно, пока отек не достиг крайней степени, я все равно испугалась и побежала к отцу. Я сказала ему, что со мной что-то не так. Он предложил показать меня доктору. Но я с детства не доверяла врачам, кроме одного специалиста по иглоукальванию, который учил других.

И мой добрый папа отвел меня к этому человеку.

Он осмотрел меня, этот странный доктор, и объявил, что сейчас он воткнет три иголки мне в бедра и отрежет кусочек плоти у меня спереди. И тогда у меня вроде как больше не будет половых органов. И никакой лишней жидкости. И еще он сказал, что операция пройдет без наркоза.

Он объяснял, почему это нужно, а мне представлялись всякие ужасы. Мне было страшно, и я заявила, что не дам себя резать.

Тогда он сказал прямо: операцию надо делать как можно скорее, потому что иначе я рискую жизнью. Моя жизнь — в опасности. И поэтому мне нельзя делать анестезию.

«Нет, не надо». Эти три слова накрепко засели во мне, у меня в голове. И я все повторяла их про себя: нет, не надо. Потому что я верила: если их повторять долго-долго, они обретут силу и не дадут совершиться тому, что творится сейчас с моим телом. Во мне. Со мной.

Но это каждое «нет, не надо» лишь добавляло тревоги и страха. Тревога и страх нарастали, захлестывая весь мир, и, наконец, вырвались у меня изо рта в виде истошного крика:

— Не надо, нет.

Доктор ответил:

— Надо.

Я пыталась спастись. Я все спрашивала у него:

— Почему вы не сделаете мне наркоз? Я не дам себя резать без анестезии. Потому что иначе мне будет больно. А я не могу, когда больно.

Я все-таки высказала это вслух — в первый раз.

В то время я просто не представляла, как можно стать кем-то еще: совершенно другим человеком — человеком, который совсем не боится боли, потому что, когда ты становишься кем-то другим, это значит, что ты умираешь. Тяжело умираешь — с болью.

— Вся операция займет три минуты, ОI.

ОI — это уменьшительно-ласкательное от Остракизм.

Чтобы меня успокоить, врач попробовал объяснить мне природу боли. *Боль* — это не то, когда *режут до самого нерва*. Боль — это когда *режут по нерву*, по самому нерву. Когда скальпель срезает поверхность нерва. А потом боль больше не будет.

— То, что сейчас происходит со мной... во мне... я согласна на все лишь бы этого не было, — умоляла я. — Я сделаю все, что угодно. Я больше в жизни не прикоснусь к вину. И к наркотикам тоже.

Я его убедила, врача. Он согласился вколоть мне наркотик, прежде чем меня резать. Но только самую минимальную дозу.

Теперь-то я понимаю: все, что было тогда — это было не просто так. Потому что в тот день я, наконец, поняла, кто я. Я — человек, который узнал одну очень простую вещь. Всякая боль — это всегда боль физическая, и эту боль невозможно терпеть. Но когда я почти поняла, почему эту боль — ту, которая в теле, — невозможно терпеть, мысль ускользнула.

Я не помню, что было со мной до того, как я обнаружила у себя в постели ту девочку, так похожую на меня.

Но потом я как будто выбралась из темного леса и вспомнила вот что: когда я была совсем маленькой, надо мной измывались — физически. Резали бритвой.

Потом мне приснился еще один сон: в этом сне я была в борделе. Я что-то искала, во сне, и эти поиски привели меня прямо в публичный дом. Хотя наяву у меня не было ни одной подруги, во сне я стояла с подругами в центре огромной комнаты. В вестибюле борделя. Именно с подругами, а не с друзьями. Все они были женщины.

И голос, вырвавшийся из меня, объявил — и не только им, этим женщинам:

— Сначала мне надо избавиться от отца.

Я не знала, кто мой настоящий отец.

## **Когда мне исполнилось восемь, реальность сделалась фиолетовой**

Мне исполнилось восемь, и отец объявил, что сейчас девочки умирают повсюду.

Он сказал, что нам нужно пройти через лес. Был летний вечер, совсем-совсем ранний — его кожа только еще начала наливаться фиалковым цветом.

В тот вечер, но позже, мы ждали Фроста. Фрост был поэтом, растратившим свой талант, и старым другом отца. Папа сказал, что с ним придет какая-то девочка, которая станет моей подружкой.

У меня еще не было ни одной подруги, потому что я была одинока.

Но они не приехали... отец почему-то ужасно смущался — и не смог объяснить даже самую элементарную вещь... он сказал:

— Может, оно и к лучшему. Ну... что вы с ней так и не познакомились.

Потом он сказал, что она, эта девочка — моя ровесница — умерла. Ее папа не знал, почему она умерла.

Он достал из кармана письмо.

Это было письмо от поэта. Он рассказывал про смерть дочери только в связи со сном, что приснился ей в ночь перед смертью:

*«Нас было много, целая компания.*

*И я как будто была еще школьницей. Мы собирались в оперу, и хотя я ненавидела оперу, я пошла вместе со всеми. Как будто мы собирались в школу. «Бард» — так назывался оперный театр.*

*Чтобы пойти до театра, мы разделились на три группы. Все девочки из моего класса спешили выбрать себе мужчин. А я наблюдала за ними. Я тоже должна была выбрать себе мужчину, потому что так нужно. И я даже пыталась выбрать, но не нашла никого, с кем бы мне захотелось пойти.*

*Все мужчины, которые мне попадались, были какими-то тощими.*

*И я спросила себя, очень честно: «Дрянная Собака, почему тебя не привлекают мужчины?» Ведь я, правда, хотела, чтобы они меня привлекали. Потому что я знала, что так положено.*

*Но я была глупой и очень вредной и никогда не делала, как положено. Так что я не стала никого выбирать и осталась со своей лучшей подругой Хитклиф и еще с двумя девочками из ее группы.*

*Была уже ночь. Мы шли по какому-то глинному узкому коридору, где были окна, но только с одной стороны. Это и был оперный театр. А потом оказалось, что все мы сидим на узеньком мягком диванчике.*

*А потом была лестница, и мы поднимались по этой лестнице, по широким ступеням — таким широким, словно их делали для королей с королевами.*

*И где-то на середине лестницы я вспомнила про человека, с которым рассталась. Один мой приятель, очень хороший сумеречный поэт, с которым мы вечно ссорились. А потом мы расстались и больше не виделись. И вот теперь он шел прямо передо мной, вверх по лестнице. Я отвернулась — чтобы не видеть его, и, самое главное, чтобы он не увидел меня, — и увидела двух собачек, которые трахались тут же, на лестнице.*

*Я пошла дальше, вверх по лестнице, сделанной для королей...*

*Как будто я убежала — прочь от всего, что осталось внизу. Я добралась до самого верха.*

*И только там, наверху, я заметила, что потеряла перчатки. Черные кожаные перчатки. Наверняка они выпали где-то на лестнице. И хотя это были мои любимые перчатки, мне не хотелось спускаться за ними — не хотелось возвращаться к прошлому. Ко всему, что осталось внизу.*

*Мне казалось, что теперь я свободна.*

*И я пошла в прямо противоположную сторону и вошла в круглый зал. Вестибюль. Слева был гардероб. Я сгала туда свою шубу из поддельного леопарда, глинную до пола — такую же стильную и элегантную, как и мои черные кожаные перчатки.*

*Которые я потеряла.*

*Раздевшись, я прошла в большой зал — такой огромный, что здесь вполне можно было давать балы. Зал был разделен*

на участки, и на каждом участке играл свой оркестр. И каждый оркестр играл своё. Все музыканты — в вечерних костюмах, и ни один не похож на другого.

В смежном зале, размером поменьше, была выставка автоматов. Больше всего меня заинтересовала самая большая машина, составленная из двух секций. Каждая секция представляла собой пластиковую фигуру немецкого мальчика-панка. И оба этих механических мальчика непрерывно кивали головами, словно гигантские заводные птицы, и как бы отпивали воду из таких же гигантских пластиковых стаканчиков.

Для меня это была значимая метафора.

Я прошла через весь зал с автоматами и только тогда поняла, что мне все же придется вернуться за перчатками, несмотря на панический страх перед прошлым. Несмотря на всю ненависть, что происходит из этого страха. Мне придется спуститься обратно в тот мир, что остался внизу...

«Дохлый Пес, — обругала я себя, — какая ты глупая девочка: сперва ты вгрызаешься в тех, кого любишь, а потом их бросаешь. Ты мертва, но тебе надо жить. Потому что только живые собаки могут искать зарытые клады».

«Я, Дохлый Пес, прямо здесь и сейчас обещаю себе, что отныне и впредь я отправляюсь на поиск сокровищ».

Чтобы исполнить свое обещание себе — мое единственное обещание себе, — я осторожно ступила на черный ковер, что теперь покрывал узкую лестницу...

И там, посреди черноты, на одной из ступенек лежали мои черные кожаные перчатки. Я наклонилась за ними и только тогда поняла, что это чужие перчатки. Потому что их черную кожу покрывал черный шелк. И я украла чужие перчатки, потому что кто-то украл мои. Хотя, может быть, их никто и не крал.

Я спустилась до самого низа. Там все осталось по-прежнему. Диванчик так и стоял у стены. И на подушках еще сохранились вдавленные отпечатки тел моих одноклассниц. Было только одно различие между этой реальностью в

*настоящем времени и реальностью из моих воспоминаний — три пары черных кожаных перчаток. Первая пара была не моя, потому что перчатки были без подкладки. Третья пара была, ну, почти что моя: между перчатками из реальности в настоящем времени и перчатками из моих воспоминаний было только одно различие — цвет подкладки был чуточку не такой.*

*Теперь меня окружала сплошная чернота. Я оказалась снаружи. Снаружи всего. Кроме меня, там были только другие девчонки: Хитклиф и ее две подруги. Я знала, что мир, где огни девчонки, не для меня. Я здесь чужая. И я притворилась пьяной — чтобы скрыть эту свою чужеродность. Даже от себя самой.*

*Я была среди них чужая. Не такая, как все. И поэтому эти девчонки не смогли бы меня прогнать.*

*Мы куда-то поехали, все мы — я не спрашивала, куда, — в длинном черном лимузине.*

*Там, внутри темноты, я открыла окно. И в этой черной дыре возник член Хитклиф, и я ей отсосала. Она кончила прямо через дыру, где все, что было снаружи, стало внутри. Когда мой рот освободился, я поняла, что мне нужно как-то объясниться с Хитклиф: почему я сделала то, что сделала. Мне надо ей все объяснить, потому что я там чужая. И я сказала: «Хитклиф, я отсосала тебе потому, что не хотела тебя донимать».*

*На самом деле, я пыталась сказать, что я знаю, как Хитклиф не любит, когда я к ней лезу со своей любовью.*

*И как только я это сказала, мы все вчетвером — три другие девчонки и я — принялись щупать друг друга и делать друг другу приятное. И мне не было страшно. Мне было слегка удивительно и хорошо».*

На этом сон обрывался. И письмо обрывалось тоже.

Поэт, растративший свой талант, сказал:

— Она умерла.

И больше он ничего не сказал. То ли не смог, то ли ему просто нечего было сказать.

А мой папа сказал, что сейчас девочки умирают повсюду, и что мне лучше уехать, потому что нам больше нельзя жить вместе — это небезопасно.

Он сказал:

— Теперь ты не будешь одна. Больше никогда в жизни. Ты пойдешь в школу и будешь жить вместе с другими девочками.

Все мы, девчонки, давно мертвы

### **Последний рассказ, который я читала:**

Мальчик и девочка, чем-то похожая на меня, много лет прожили вместе. Хотя ни капельки не постарели.

Ей хотелось ребенка. А ему не хотелось. Совсем не хотелось.

Девочка часами рассматривала свое тело, которое превратилось в кладбище, потому что мальчик никак не хотел ей помочь завести в нем ребенка. А трахаться с кем-то другим ей уже не хотелось. Совсем не хотелось.

Там, на кладбище у нее внутри, были насыпи грязи, и дыры в земле, и истлевшие черепа, и озера с зеленой и мертвой водой, по которой скользили утки, и звериные лапки, разбросанные по земле.

Она наклонилась, чтобы рассмотреть, что внизу, под кладбищем — и увидела крысу. Совсем еще маленького крысенка: голенького и лысого. Пять тонких шерстинок на голове — вот и все. Крысенок сидел у нее на коленях.

— Но откуда бы у меня взялся ребенок, — сказала девочка.

Крысенок протянул к ней передние лапки и ткнулся мордочкой ей в лицо. Его губы — мягкие-мягкие, до невозможности: потому что живая плоть не бывает настолько мягкой, — хотели выпить ее до капли. Она была как вода для ребенка. Как прохладное озеро.

Озеро, где — как потом оказалось, — на дне была дохлая лошадь.

Она склонилась к своему ребенку, который безудержно плакал, и прижала его к груди. Она поцеловала его, и дала ему грудь, и кормила, кормила, кормила, пока одиночество не отпустило ее. Все ее одиночество, вся ее злость на мальчика, которого она любила больше всех на свете.

И когда боль прошла, девочка снова смогла различать, что есть что. И она поняла, что крысенок — это ее любовник.

Она рассмеялась и проговорила:

— Мальчики — это крысы.

И тогда они с мальчиком взялись за руки, и с тех пор были счастливы.

Прочитав этот рассказ, я в ту же ночь пересказала его во сне:

Школа, куда меня определили, это школа не только для девочек. Она смешанная. Там есть и мальчики тоже. И еще там есть автостоянка. Школа — это отчасти автостоянка.

Я стою на стоянке вместе с каким-то мальчиком. И мы с ним занимаемся сексом, потому что он мальчик. Как только я распалюсь, он сообщает мне, что встречается с девочкой с театрального факультета.

— Она такая, такая... вся наоборот.

Я тоже вся наоборот. Мой ответ на его заявление: сделать ему минет в положении «подвешенная вверх ногами», как будто я превратилась в Повешенного из колоды Таро. Влага с моих чулочков капает мне в глаза. Я уже не могу говорить. Он отвечает:

— Нас никто не увидит.

Меня это радует.

Мальчика зовут К——.

Когда секс закончен, для меня больше нет никакого секса: я остаюсь одна, брошенная на пустынной стоянке. Эта стоянка — не просто стоянка, а кладбище. В мире не осталось уже ничего — только мой мотоцикл. Но я почему-то его не вижу. Так начинаются поиски мотоцикла: сперва я иду туда, где я его оставляла в последний раз. Я помню, где я его оставляла. Но там его нет. Я ищу его по всей стоянке, но за пределы стоянки не выхожу никогда.

Наверное, хозяин стоянки переставил его куда-то в другое место. Без моего ведома. Наконец, я его вижу. Вот он, мой «Ниндзя». И хозяин стоянки впиливает в него задом на своей машине. Я стою, совершенно беспомощная, и не могу ничего сделать. Я ничего не могу, потому что мне не хватает секса. Хотя я не совсем понимаю, как это связано между собой. Меня жутко злит моя собственная беспомощность, и я бросаюсь на него. Просто падаю сверху, всем телом. Мои маленькие кулачки бьют его по голове.

Я готова на все, чтобы выйти из этого положения. И я устраиваюсь на работу. Я буду делать что-то полезное в школе, и от этого стану настоящей. Меня совсем не ломает работать массажисткой — да, я устроилась массажисткой, — потому что теперь я могу зарабатывать деньги, не ставя себя в идиотское положение...

Я делала это за деньги: прикасалась руками к чужому телу. Моим первым клиентом — вернее, клиенткой — была женщина. Девочка. Я сразу подумала, что она учится на театральном факультете: у нее были длинные волосы, очень красиво уложенные.

Я никогда в жизни не делала никому массаж, и не знала, как к этому подступиться. Но мне так хотелось стать настоящей. Так что пришлось притвориться, что я все знаю. Я решительно распахнула дверь и вошла в массажный кабинет.

Только это был не кабинет, а тесная коморка: три полки, прикрученные к стене, нависали над деревянной доской, уложенной поверх старой ванной, в которой взрослый человек поместился бы только сидя.

Между нами, наверное, что-то произошло, потому что теперь этой девочке — которая, как мне казалось, учится на театральном, — срочно потребовалось принять ванну.

Мы забрались туда вдвоем. Мы все время хихикали — не могли остановиться. И там, в этой крошечной ванной, мы с ней снова занялись сексом. Хотя тогда я еще не знала, что это секс — то, что мы делали с этой девочкой.

Я очень боялась, что меня уволят, потому что я тут работала, и школа платила мне деньги, а я трахалась с их ученицей. Но секс мне понравился. Потому что секс — это забавно. Снаружи светило солнце. Потом я трахалась уже не глядя — со всеми девочками, что приходили ко мне на массаж. И я поняла, что никто меня не уволит.

## **Пиратские сны**

Из страны попугаев и пальм они выходят в моря, что гремят, словно землетрясения — в соленые воды, что вздымаются к самому небу и пробивают в нем дыры. Они выходят в поход все вместе, насколько понятие «вместе» вообще применимо к такой компании. Они идут за добычей. Идут за имуществом. Обычно они начинают бой, окружив свою жертву, как кошки — мышей. Сперва — поиграть, подразнить. А потом — уничтожить. И уйти, на самом деле никого не убив. Они возвращаются к себе в укрытие в черных песках. Они голые, все до единой.

## Пиратский секс

Теперь все пираты — японцы. Их двое, мужчина и женщина (хотя пират — это необязательно только мужчина или только женщина). Они готовят еду у себя на кухне, на японской кухне. Вернее, готовит еду только женщина, потому что мужчина — сексист. Она из пиратов, и до людей ей поэтому дела нет: она либо готовит еду для животных, либо готовит еду из животных. Что, по сути, одно и то же.

Сейчас она делает корм для животных из кошачьего дерьма.

...безбрежные воспоминания о священных городах сами сделались странами... затерянными в зыбучих песках, где не ступала нога человека... следы, где когда-то не было следов... это сны.

И еще с ними — белая девочка. Она — писательница. Сочиняет непристойные рассказы. И она знает: когда пираты переведут ее вещи на свой язык, это будет ужасно. Она сидит там же, в пиратской кухне. И наблюдает за тем, как женщина-японка готовит еду.

Теперь пришла очередь белой девочки. Но она не умеет готовить. Она может состряпать только суп мисо с рисом — в заварочном чайнике.

Пираты едят ее суп мисо с рисом и объясняют ей, где достать в этом городе то, что ей нужно. Девочке нужно кошачье дерьмо.

Так я пошла в школу...

## Я встречаю себя

Страницы, вырванные из моего первого школьного дневника:

(без даты)

школа — это молочная ферма  
потому что все училки — коровы

Теперь, когда я пошла в школу, я больше не буду одна. Никогда.

Раньше я ненавидела девочек. Я хорошо это помню. *Все девочки дуры, и они всегда врут...* Я имела в виду, что я тоже девочка, но не такая, как все. Наверное, я из другого племени. Я другой крови. Вот почему мне всегда было неловко и странно,

когда я играла с другими девочками. Я все делала неправильно. Я вообще была вся неправильная.

Но эта школа, куда меня определили — она только для девочек. Так что кругом — одни девочки. И я теперь думаю только о девочках. Постоянно.

Я даже не знаю, что мне теперь снится, потому что все мои мысли заняты только одним: как бы мне перетрахать всех этих девочек.

(без даты)

Слово «ебля» что-то значит, но я не знаю, что оно значит здесь, в этой школе.

Сегодня я решила подрочить. И вот, что я написала, пока дрочила:

Каждый раз, когда я смотрю на нее, я смотрю ей глаза — насквозь, а потом я вхожу в нее.

Сейчас я в школе, а это значит, что когда-нибудь мне придется отсюда уйти, то есть, когда я окончу школу и уеду отсюда куда-то еще, я все равно я всегда буду с ней. Потому что она — моя. Потому что я снова и снова вхожу в нее. Внутрь.

Я живу у нее под ногтями.

Но пока что пиратов не видно.

(без даты)

снова, за мастурбацией,

Пиратский секс начался в тот день, когда хлынули воды. Как будто «когда» равнозначно «потому что». И в тот же день мой пиратский пенис высунулся у меня из тела.

Он высунулся у меня из тела и тут же вонзился в меня. Я не помню, куда.

Мой пенис вошел в мое тело, и входил снова и снова, и каждый раз он стучал, как самец обезьяны, по куску моей женской кожи; а потом проникал внутрь — сквозь кожу. Кожей к коже. И иногда между слоями кожи возникали пластиковые канистры: то ли с водой, то ли с мочой.

Пиратам нравится проникать внутрь. И когда они проникают в кого-то другого, они либо кончают в него, либо мочатся. Вот почему мое тело стало началом пиратского секса.

Все мы, девчонки, давно мертвы. Но теперь все должно измениться.

И мы больше не будем мертвыми.

После долгих лет совершенно без секса, пираты нашли эту землю, где они снова могли заниматься сексом. Конечно же, все они были девчонками. Они вытоптали все розы, пронеслись разрушительным вихрем и освободили себе территорию для жизни. Кое-кто даже описался от возбуждения. Они вспоминали про свое детство.

Пират # 1: «Я вот ищу, куда бы пристроить свой член».

Услышав это скабрзное заявление, старый пират по имени Гнилой-Поцелуйчик, которая знала, что члены пристраивают себя сами и лишь в подходящий приемник, объяснила юной преступнице, что тело-приемник непременно должна посмотреть ей в глаза, прежде чем она кончит в нее.

Сейчас тело-приемник смотрит мне прямо в глаза, и я тоже могу посмотреть ей в глаза. Я смотрю ей в глаза и вхожу в самое сосредоточие ее мозга. Теперь, когда я туда вошла, я могу кончить.

Я еще не успеваю выпустить из себя все, а она раскрывается снова; все ее дырочки и отверстия раскрываются передо мной, и все эти разверстые дырочки соприкасаются, не нарушая пределов чужой территории; все очень четко и слаженно, никакой путаницы; я вижу этот исправный порядок, и глазные яблоки у меня в глазницах поворачиваются на 180 градусов. И я вижу мир, в котором нет даже понятия «видеть».

Я знаю: сейчас мне придется спуститься в смерть.

В мире теперь не видно уже ни одной маленькой девочки.

Они все уходили куда-то вдаль, чтобы потом возвратиться домой. Возвращались не все. Вместо тех, что ушли навсегда, из земли выбивались цветы. И когда из земли выбивался цветок, сочащийся женской секрецией, кто-то из девочек вновь обретал видимые очертания.

(ХВАТИТ ПРОЧИТЬ)

Я не хотела иметь с ними дела, с девчонками. Лучше бы я умерла. Когда-нибудь в будущем я стану солнцем, потому что уже сейчас я могу обнять солнце ногами.

(КОНЕЦ ЭТОЙ ЧАСТИ ДНЕВНИКА)

Машина подъехала к школе. Она была черная.

Я все видела, я наблюдала в окно. Машина была словно крошечное пятнышко. Она подъехала к главному входу и развернулась.

Я видела, как кто-то вышел из нее. Вроде бы женщина. Лет тридцати-сорока. Я спустилась по лестнице, к другому окну. Оно было ближе к земле и машине. Я подошла как раз вовремя, чтобы увидеть, как из машины выходит мужчина. Он был в черном — наверное, шофер.

Двое школьных служителей, во всем белом, подошли к черной машине и достали оттуда безвольное тело. Мне показалось, что это мертвец.

А потом я разглядела, что это девочка. Моего возраста.

И я побежала к ней. К этой девочке. Побежала, как будто — к себе.

\* \* \*

Но оказалось, что она еще жива. Наш школьный врач осмотрел ее и сказал, что она будет жить. Я не знаю, как он это определил. Наверное, по коже на зубах. Потому что пульс у нее был неровным и слабым.

Или, может, он просто пытался ее подбодрить.

Когда эта женщина, что приехала с девочкой — женщина с черными волосами и белой кожей, — услышала, что девочка будет жить, она воскликнула:

— Не может быть! — Оказалось, это была мама девочки. — Нет, это решительно невозможно. Послезавтра мне нужно быть в —.

Но врач уверил ее, что такое возможно. И еще он сказал, что девочка слишком слаба, и что дороги она не выдержит.

— Но мне нужно быть в —. Это вопрос жизни и смерти. Если я не доеду до — послезавтра... Ой, что же мне делать?! Вы

говорите, дороги она не выдержит... то есть, я не могу ее взять с собой, потому что дорога ее убьет.

Директор школы — вернее, директриса, потому что это была женщина, — уверила мать, которая, если судить по наряду и манерам, была богата, что она может оставить дочь в школе. Это закрытая школа, только для девочек, так что тут ее дочка будет в полной безопасности.

— Если хотите, можете определить ее к нам учиться. Так вы убьете сразу двух зайцев.

Они отошли в уголок и принялись шептаться. Для меня они были как две огромные черные птицы. И выражение у них на лицах было гораздо серьезнее, чем когда они обсуждали жизнь и смерть этой девочки, очень похожей на меня.

Я потихонечку вышла из комнаты.

Когда эта девочка, очень похожая на меня, очнулась, ей сказали, что ее мама уехала и оставила ее здесь. Я не знаю, что она почувствовала, но, наверное, что-то почувствовала — потому что она рыдалась.

Рыдалась отчаянно и безутешно, и рыдала еще очень долго, и ничего не хотела рассказывать о себе. Она только сказала, как ее зовут. Но для нас ее имя не значило ничего.

Мы так никогда и не узнали, куда она ехала с мамой, куда и зачем, и что это было за жизненно важное дело, из-за которого ее маме пришлось ее бросить.

Из-за которого мы с ней и встретились.

В нашу первую встречу — то есть, в первую встречу после того, как она очнулась, — она мне сказала, что любит маму. И всегда будет любить, всю жизнь, и всегда будет слушаться эту красивую зеленоглазую женщину и делать все, что она говорит.

Чем больше мы с Киской сближались, тем сложнее мне было понять это самозабвенное послушание родительской власти, тем более если родителей нету рядом.

Но зато я поняла, почему мы с ней так похожи. В самом начале. Когда она еще не вставала с постели, ослабленная болезнью. Когда я внимательно к ней присмотрелась, я увидела лицо той странной

девочки, что оказалась у меня в постели в ту ночь, когда я узнала правду про своего отца: что у меня нет отца. Той самой девочки, которая так меня напугала.

И еще я поняла, что она очень красивая.

### **Сон, прерывающий явь**

Она все-таки разговорилась. Она рассказала мне, что когда она была совсем маленькой, она либо вообще не спала, либо видела сон, что она лежит в моей постели. Она пересказала мне все, что я помнила о той ночи. И еще она пересказала мой сон про доктора, специалиста по иглоукальванию, мой сон, в котором — и благодаря которому — я впервые столкнулась со страхом.

— ... и голос, вырвавшийся из меня, объявил: «Сначала мне надо избавиться от отца».

Девочка продолжала рассказывать:

Это единственный в мире сон, потому что других уже не осталось:

Я оказалась совсем одна в вашем подвале. Там было мрачно, темно и грязно. Все покрывал слой коричневой пыли.

Делать было особенно нечего, так что я просто пошла вперед.

Наконец, я добралась до места, где мог быть выход. Помещение перегораживали ворота. Такие большие и деревянные. Увидев эти ворота, я вспомнила, что ищу выход — потому что мне нужно сбежать отсюда. Из этого дома. Это был дом твоего отца.

За воротами, которые были закрыты и заперты на замок, виднелись два лифта, стоявшие рядом. Как две послушные девочки-школьницы.

Я поняла, что это и есть выход.

И я думала, глядя на эти ворота, которые были заперты: «За мной гонятся злые убийцы, но они все остались снаружи. А раз их сейчас нет внутри, значит, я могу выйти».

Не знаю, как я прошла через эти ворота, которые были заперты. Но я прошла. И вошла в царство мертвых. На тот участок дороги, который ведет к двери с надписью «Выход».

Я смотрела в глаза, которые были лифтами. Два огромных распахнутых глаза. Потому что только глаза могут вывести нас к тому, что снаружи.

А потом я оказалась уже внутри. В одном из этих лифтов. Из этих глаз.

Двери закрылись. И я подумала, словно мышление было каким-то особенным действием: «Злые убийцы сейчас где-то там. Здесь их нет, но они могут вернуться. От меня это никак не зависит. И что мне делать, если они вернуться?»

Я решила, что для меня безопасней открыть глаза: открыть двери лифта и проследить, чтобы они оставались открытыми. Тогда, если кто-то сюда войдет, я их сразу увижу — этих злобных убийц.

Я держала дверь лифта открытой. Все злые убийцы собрались у деревянных ворот, с той стороны. Я как будто смотрела «Сало»: один из них со всей силы ударил по доскам своим волосатым кулаком. И пробил их насквозь.

Там осталась дыра — дыра в ткани мира. И я поняла, что они все проникнут в меня. Все, кого я так боялась».

Мы с Киской видели один сон, и поэтому решили, что теперь мы подруги.

## **В снах мне открылась моя сексуальность**

Что касается дружбы, то в школе на этот счет были традиции и негласные правила, которые девочки соблюдали беспрекословно. Каждая уважающая себя девочка, более-менее сообразительная и смысленая, искала себе подругу из самых умных, самых красивых и уважаемых девочек в классе, которая согласилась бы с ней дружить. Они заключали такой договор: они посвящают себя друг другу уже безраздельно, навсегда остаются верны друг другу, не дают друг друга в обиду и всегда защищают друг друга от интриг, козней и происков всех остальных. Если одна из подруг пользовалась уважением в классе, а вторая была под ее покровительством и защитой, они обе могли не бояться, что их выберут для игры, у которой не было названия.

Игра заключалась в следующем: в течение одной недели все девочки в классе объявляли бойкот той, кого выбрали для испытания. С ней никто не разговаривал, ее никто не замечал. И если в течение этой недели глухого молчания — молчания, что протягивалось в пустоту, в ничто, — девочка «ломалась» и бежала жаловаться учительнице или даже просто ревела где-нибудь в уголке, она навсегда

теряла уважение своих одноклассниц, и ей не стоило даже надеяться, что кому-то захочется с ней дружить. Она навсегда оставалась одна. Навсегда — до конца школы. Но если она выдерживала эту пытку — все-таки слишком мягкую для того, чтобы называться пыткой — она могла с полным правом вернуться в тесный магический круг «самых-самых». В круг силы.

Я уже поняла: чтобы спастись от игры, мне нужен хороший защитник.

Каждую ночь почти половина всех девочек в нашей школе забирались в постели к своим лучшим подругам: для нас весь мир происходил по ночам.

В ту ночь я как бы раздвоилась: была одна я и другая я, — потому что мои чувства к Киске были такими же двойственными. Одна половинка меня почему-то боялась Киску, как будто моя дорогая подруга была настоящим чудовищем.

Я знала, что это за половинка — девочка по имени Остракизм. Потому что она не умела сближаться с людьми: чем отчаяннее и сильнее ее тянуло к кому-то, тем сильнее и отчаяннее ей хотелось бежать в прямо противоположную сторону.

А вторая моя половинка считала Киску самой красивой девочкой на свете.

Эта моя половинка была безымянной и дикой. К ней нельзя было притронуться — как нельзя поймать ветер. Эта моя половинка заходила безумной радостью, когда раскрывалась, как воздух, как это невидимое «не здесь». Эта моя половинка жила по ночам, потому что внутри у нее была ночь, равнозначная небытию. И они начали трахаться — эта моя половинка и ночь.

Я даже не знаю, что я тогда чувствовала: я была небытием или ночью внутри. И поэтому мне стало страшно.

Киска сказала, что она никогда ничего не чувствует, и ей хочется, чтобы я чувствовала за нее.

А я ей сказала, чего хочу я: чтобы она сделала мне одну штуку, — и тут же сказала, что нет, не хочу. Мне хотелось, чтобы она распахнула меня широко-широко, и тогда, может быть, я смогу что-то почувствовать, а потом я стала орать на нее, потому что, когда я распахнута, я уязвима.

— Я не хочу, чтобы мы с тобой сблизились еще больше, потому что я не хочу, чтобы мне было больно.

— Что означает, — ответила Киска, — что тебе уже больно. И я сделаю так, чтобы тебе было еще больнее.

Я напомнила ей, что я — ее лучшая подруга.

— А меня не волнует, что с тобой будет потом.

Все свое отношение ко мне она выражала в этих двух фразах. «Для меня это естественно: делать тебе больно». «А меня не волнует, что с тобой будет потом». Я просила ее объяснить, но она говорила «нет», и это сводило меня с ума. Вот почему я решила, что она сумасшедшая.

Она была мальчиком, который так никогда и не вырастет. Который так и останется мальчиком. И я тоже когда-нибудь стану мальчиком — когда узнаю свою сексуальность.

Это-то я понимала.

Но я не могла понять, что происходит.

Когда ее рот, а потом и язык проникали в меня, мне хотелось умереть, чтобы они проникали в меня бесконечно. У меня было только одно желание: быть с этой девочкой, полностью неспособной к тому, чтобы с кем-то быть.

Каждую ночь я искала свою сексуальность.

## **Сны:**

Сейчас ночь. Я сижу в туалете.

Из туалета видно океан. Океан — это свобода.

Туалет — он, конечно же, не в океане. Он стоит на зеленой лужайке в парке. Парк очень красивый и геометрически правильный. Я сижу в туалете, но меня никому не видно, потому что лужайку со всех сторон окружают деревья.

За стеной из деревьев проходит мужчина. Он лысый, и я его знаю. Это мой самый любимый учитель. Но я его не окликаю, чтобы поздороваться.

Наверное, я уже вышла из туалета, потому что теперь я сидела на своем мотоцикле. Ночь — или беспмятство — сгустилась тьмой.

Я добралась до конца дороги. Пора было ехать домой. Теперь дом был не связан с отцом: дом — это все, что не мой отец.

Мне надо было свернуть направо и поехать по той дороге, что шла вдоль пляжа.

Океан был мне домом.

Я уже видела поворот. Там был бетонный разделитель, и надо было сначала резко свернуть налево, а потом — сразу направо, чтобы поехать на восток, вдоль воды.

Я все рассчитала: как заложить вираж, чтобы не уронить мотоцикл при входе в поворот. Мотоцикл — это такой мерзавец.

Девочки умирали повсюду — от рака груди.

Впереди, тоже на мотоцикле, ехала девочка из моей школы.

Стало совсем темно. Когда я опять посмотрела вперед, я увидела, что ее мотоцикл лежит в черном и мертвом куске пространства, ограниченном с двух сторон разделительным блоком и правой обочиной.

Я окликнула ее сквозь дождь:

— Черный Пес. Черный Пес.

Но она не ответила. Темнота загустела. Ехать стало опасно. Было темно, дождь лил плотной стеной, и я уже не понимала, куда я еду. Это была улица с односторонним движением, но я все равно развернулась — прочь от начала дождя — и поехала не туда. Бывает и так, что закон подвергает риску тех, кто его соблюдает. Я доехала до предместья, где уже начинались дома, и зарулила на заасфальтированную площадку у какого-то дома. Шины увязли в воде. Но мне удалось выбраться на возвышение, где воды было меньше. Я подумала, что теперь я в безопасности.

Я бросила свой мотоцикл и побежала туда, в конец ночи. Мимо прошли двое рабочих.

— Там девочка под мотоциклом, — закричала я. — Помогите мне! Помогите!

Я боялась, что Черного Пса уже не спасти. Потому что я слишком долго возилась, спасаясь сама. И спасая свой мотоцикл.

Одна половина ее мотоцикла застряла в черной глубокой воде, в обрамлении бетонных плит — как растение в горшке.

Рабочие крикнули мне:

— Не смотри.

Хотя весь мир был — сплошная вода, мотоцикл горел.

— Заглушите мотор! — заорала я этим рабочим. — Она же сгорит!

Один из парней вырубил зажигание, покрутив гигантскую гайку под сидением. А я и не знала, что там есть гайка.

Убийственный жар сотрясал ее тело, как бы обернутое вокруг задней части рамы. Я это видела. Я не знала, живая она или нет.

Второй парень сказал:

— Она еще жива.

Ей выпал шанс жить. Раньше я как-то об этом не думала, и теперь мир как будто раздвинулся и стал больше: задняя часть черного кожаного сидения, хромированная рама, куски тела Черного Пса. Все такое огромное, трепетное, вибрирующее.

Обратно в город. В район, где я жила раньше. Пока меня не отправили в школу. Иду по улицам, и мне страшно. Меня все здесь пугает. Как раньше. И поэтому прошлое и настоящее равнозначны.

Иду словно сквозь вязкую жидкость.

Иду домой. В любом городе, если ты ходишь по улицам регулярно, ты знаешь, что с наступлением темноты лучше вообще не выходить из дома. Темнота наступала.

Было уже так темно, что я не видела улиц, по которым иду.

Из темноты вышел мужчина. Мне стало страшно — или просто я знала, что должна испугаться. И особенно, что меня изнасилуют. Я не знала, кто он такой, и когда он пошел рядом, я не стала возражать. Я — которая так боится своего отца.

На этих невидимых улицах, в темноте, мы с ним занялись сексом.

Он был латиносом, а я — белой. Так что я стала преступницей. Я это знала. То, что я делала с этим мальчиком — это считалось преступным в глазах общественности. И я попросила его увести меня далеко-далеко; где нас никто не увидит, где мы будем свободны — где мы сможем решить, что нам хочется сделать друг с другом.

И где мы сделаем, что нам хочется.

Он отвел меня в царство уличных банд.

А сам куда-то исчез.

Я оказалась в какой-то комнате, обитой некрашеным деревом. Это была штаб-квартира. Все мужчины в комнате были гораздо крупнее меня, но я их не боялась — потому что мы разговаривали, все мы, и слова шли от сердца.

Потом мальчик-латинос вернулся. Взял меня за руку и повел домой. Темные многоэтажки смутно проглядывали сквозь ночь.

Во сне мне приснилось, что я спала. Я проснулась и оглядела знакомую комнату. Да, это была моя комната. Было очень темно.

И там, в дальнем углу, было черное чудище. Он увидел, что я на него смотрю, и подошел прямо к моей кровати, как хищник, который подкрадывается к добыче, и принялся бегать вокруг меня, все быстрее и быстрее. Под конец я уже не могла разглядеть, что он делает — вот как быстро он бегал. Я уже ничего не понимала.

В комнате было темно, и казалось, что все в ней — живое.

Это было время зверей. Глаза у черного чудища были желтыми. Когда звери с желтыми глазами стали кусать меня за соски...

Их желтые глаза сделались сосредоточием меня — горячим, жгучим. И я перестала быть только одним человеком, телом, движущимся в пространстве, и спустилась вниз, в подпространство, где были все девочки из моей школы.

В этой области мира все было горячим и жгучим, так что уже очень скоро что-то должно было произойти. В этой области мира. Там уже появился фундамент, способный выдержать это огромное опустошение.

А потом появляются пальцы.

Сдвинувшись вправо, по плоскости — от меня больше уже ничего не осталось, только ровная плоскость, — скрюченный загнутый палец подцепляет полоску плоти (которая тоже — я).

Днем девочки из моей школы только и делали, что возбуждали себя руками, так что пальцы сводило от боли. Боль была непрерывной, и каждая девочка — словно отдельный кусочек гигантского тела, что распадалось на части, как я сама распадалась на части, — превращалась в замкнутую систему, обособленную от остальных.

## **Вне сновидений**

Я проснулась и поняла, что Киска хочет сделать мне больно. Ничем другим она не удовлетворится. Ни за что. И мне надо было ее разыскать, чтобы не дать ей проникнуть в меня и пробить дыру у меня внутри.

Я прибежала в комнату к учительнице — учительнице французского, — и сказала: мне страшно. Я боюсь Киску. Боюсь до смерти.

— Почему?

— Я не знаю. Мне надо ее найти, Киску. Я не знаю, зачем. — Мне было уже все равно, что обо мне подумают учителя. — Мне нужно войти в ее комнату. Но она заперта. И теперь я боюсь быть одна.

Я даже не знаю, почему она слушала весь этот бред. Хотя, может быть, и не слушала. Я не знала, что происходит сейчас у нее в голове, но она взяла меня за руку. И мы вместе прошли по темному коридору — к двери с черным пятном вместо имени.

Теперь я поняла, где мы. В коридоре еще горела одна тусклая лампочка. Постучав в эту дверь с черным пятном, я пробила дыру прямо в явь и услышала свои сны.

Я постучала, но мне не открыли. Я постучала еще раз, потом — еще. Нет ответа.

Тогда мы сломали дверь. В комнате никого не было.

Лишнее подтверждение, что Киска достанет меня, потому что она так хочет.

Мы искали ее всю ночь и все утро: чтобы она не смогла сделать мне больно. Но мы не нашли ее, Киску. Мы нашли только прядку ее волос.

До того, как я пошла в школу, я любила выдергивать лапки у крабов. Крабы водились в прудочках, скрытых под скалами, что вели к океану. Я выдергивала им лапки, и из дырок сочилась желтая кровь. Потом эти крабы пришли за мной в страшном сне, который был самым первым из всех моих снов. Они подползали все ближе и ближе, и их клешни — такие большие-большие, — раскрывались все шире и шире, и я поняла, что они собирались меня убить.

Память связала прошлое и настоящее, и тот сон вернулся в меня: я как будто вернулась в сон — в комнату Киски.

День уже близился к вечеру. Время, когда умирает солнце. Это солнце уже пробило дорогу пиратам. Дорогу, что слепила глаза и этим живым мародерам, и дохлым рыбинам, что покачивались на поверхности темной воды под дорогой. Хотя и пираты, и дохлые рыбы отправились в странствие, им было уже все равно — куда.

Зубы пиратов были белее, чем зубы рыбин, законсервированных в морском рассоле, что пропитал их снаружи и изнутри. Когда солнце село, и по миру разлились ночные огни, у пиратов начались галлюцинации.

Киска сидела за письменным столом. Я сказала:

— Привет.

И мы с ней пошли ужинать, вместе. Остальные девчонки уже собрались в столовой. Их уже начало мутить от мастурбации.

Они пели хором,

Разольется повсюду

Вечерняя наша молитва.

Мы кончаем, кончаем, кончаем,

Мы бесконечно кончаем,

Как Иисус Христос изливается в наши пизденки.

Я сказала Киске:

— Мне уже все равно, в чем проявится моя сексуальность, и проявится ли вообще.

Я оглядела еду под стеклом. На каждой тарелке из поддельного серебра лежало что-нибудь несъедобное или ядовитое. Киска, она была злая и гадкая девочка, и поэтому прямо сказала женщинам на раздаче, что именно она будет есть. А мне никогда не хватало наглости. Я просто не знала, как это делается.

Я прошептала:

— Мне рис и салат.

И тут я совсем растерялась. Ведь я не взяла ничего белкового. А это же общеизвестно: белки необходимы для жизни. Выходит, я объявила всем девчонкам в столовой, что мне хочется умереть. Все уставились на меня. Дрочить им уже надоело. В их взглядах явно читалась, что я тут чужая, и всегда буду чужой — куда бы я ни отправилась, я принесу в это место свою чужеродность. Вот что мне говорили их взгляды, и мне было больно и неприятно, хотелось поубивать их всех, потому что потом мне бы было уже все равно, что они обо мне думают.

Но вместо этого я опять принялась изучать меню. Там было много мясного.

— Мясо по-южному, — мое самое любимое.

Другие девочки выбирали себе еду, наперебой выкрикивая, кому — что, а я пошла в туалет.

Подальше от этой беснующейся толпы. В туалет можно было зайти только снаружи, с улицы — и это было символично. Там, снаружи, вдоль стены школы стояли в ряд маленькие омары, совсем детеныши. Миниатюрные копии тех драконов, что жили в морях-

океанах и каждую ночь приходили к моей постели, готовые сожрать меня с потрохами, если я отойду от кровати хотя бы на шаг.

Они меня ждали. Я посмотрела им прямо в глаза, и они двинулись на меня. Между нами была стена. Я увидела, как один мелкий омарчик протиснулся в щель.

Стена пошла трещинами и разломами — все больше и больше омарчиков проникло внутрь. В мои трещинки и разломы. Теперь я была беззащитной.

Я убежала из этого места, где мы, девчонки, всегда были защищены от опасностей. «Единственный туалет во всем девичьем городке», — как говорила Киска. Но теперь это место раскрылось. Я так испугалась, что убежала, забыв обо всем. Бросила все свои деньги и туфли.

Потому что я знала: если вернуться за туфлями — чтобы я снова могла ходить, — мне не жить.

Я вернулась в туалет.

Теперь уже можно было вернуться. Там не осталось уже никого, кроме одного-единственного крошечного омарчика, такого мелкого, что он — или она — не смог бы обидеть и мухи. Мои туфли и десять долларов так и лежали на полу. Я увидела, что крошка-омарчик выполз сюда из единственной щели в стене.

У самого пола.

Я собрала свои вещи. Меня обступили омары — со всех сторон. Киска вернулась ко мне.

## **У меня отбирают Киску**

Дни, а главное — ночи, теперь проходили спокойно, без каких-либо происшествий, а потом подошло Рождество. Рождество — это время, когда девочек разлучают друг с другом.

Каждой девчонке приходится возвращаться домой, в семью, независимо от того, есть у нее семья или нет. При одной только мысли, что мне надо будет расстаться с Киской, я впадала в истерику.

Я знала, что на Рождество к нам приедет тот самый дяденька, папин друг, у которого умерла дочка, из-за чего меня и отправили в школу для девочек. Он приедет к отцу в первый раз после смерти дочери. И останется на все праздники.

Он был поэтом, но меня совершенно не интересовала поэзия.

— Я знаю, — сказала отец; его слова ничего для меня не значили.

Через несколько дней я вернулась в то место, которое считала своим единственным домом, и Фрост рассказал нам с отцом, что случилось с его ребенком:

— Моя дочь так ждала той поездки, к вам. Но, к несчастью, она умерла.

— Я знаю, — снова сказал отец. И больше он не сказал ничего, но я знала, что про себя он добавил, что сейчас девочки умирают повсюду.

— Там был длинный ряд окон из цветного стекла. И еще — голоса. Слово из ниоткуда, — продолжал поэт. — А потом у нас перед глазами возникла огромная дверь. Дверь в большой дом.

— Ее первый бал! Она так радовалась, моя дочка. Она была просто в восторге! Я сам был в восторге, как будто я — это она.

Это был мой единственный ребенок. Ее так легко было очаровать. Она все принимала с таким восторгом!

И еще там было небо. Оно расцвело фейерверком, и это было официальное открытие бала. Мы вошли в дом, держась за руки.

И там, внутри, я увидел такое, чего в жизни не видел:

Почти все присутствующие были в масках. Все, кроме моей дочери. У нее, у единственной, не было маски. На ней было роскошное платье, как и у всех остальных. Ей хотелось увидеть все. А я смотрел ей в глаза, чтобы тоже увидеть все...

...ее первый бал...

...и там, в глубине ее глаз, я увидел ребенка. Я оглянулся. Этот ребенок тоже был в маске, как и все остальные, и я так и не понял, кто это: девочка или мальчик. Я заметил, что она смотрит на мою дочь. И еще я заметил, когда она слегка приподняла маску — это была очень эффектная маска, из мягких свиных перьев в серых с коричневым тоном, уложенных в несколько плотных слоев, — так вот, я заметил, что они с моей дочерью очень похожи.

Я отлучился в уборную, а, вернувшись, увидел, что моя дочь разговаривает с этой девочкой, и они обе смеются. Незнакомка сняла свою маску: она была очень красивой, необыкновенной красивой — и все, кто стояли поблизости, начали оборачиваться на нее.

Моя дочка, наверное, тоже решила, что это необыкновенная девочка, потому что она захотела пригласить ее к нам домой после бала. Захотела оставить ее при себе.

Я не стал спорить с дочерью; я никогда с ней не спорил; на самом деле, до встречи с этой незнакомкой, я не видел причин запрещать моей дочери делать то, что ей хочется сделать. Я хотел лишь одного: чувствовать то же, что чувствовала она.

Мне до сих пор непонятно, что случилось той ночью. После той ночи моя дочь, с которой мы всегда были друзьями, вдруг от меня отвернулась. Ей хотелось быть с этой девочкой, которую она совершенно не знала. В том смысле, какой лично я вкладываю в понятие «узнать человека». Она называла ее Хитклиф. Когда я спросил у Дрянной Собаки, кто она и откуда, ее подруга, дочь едва меня не покусала. Она сказала, что это естественно, если у девочки есть подруга.

Но потом она вроде смягчилась и добавила: «Папа, мне было так одиноко, когда у меня не было никого, кроме тебя».

Я ее понял, я всегда понимал ее чувства.

А потом дочь спросила: можно, она поживет у нас? Эта девочка, так похожая на мою дочь.

Я снова спросил, кто она и откуда. На этот раз дочь мне ответила. Я проверил всю информацию. Мои сомнения рассеялись.

Для девочек это вполне естественно: тесно сближаться друг с другом, — пока не придет время встречаться с мальчиками. Хотя я и поэт, я знаю, как все устроено в мире.

Почти все время они проводили в спальне. Они вставали так поздно, что день для них превратился в ночь, а ночь — в день. Моя девочка явно не высыпалась. У нее под глазами появились мешки; потом мешки превратились в темные круги; потом круги стали черными.

Как раз в это время Дрянная Собака начала мне рассказывать про свои кошмары. В конце концов, я же ее отец. Ей снились страшные сны про животных.

— Мне тоже снятся кошмары, которые не кошмары. Но я не стала ничего говорить, потому что у них был мужской разговор. Наяву все разговоры мужские. Ну и пусть их. Мы, девочки, разговариваем во сне. И все поэты об этом знают.

— Дрянная Собака рассказала, что каждую ночь к ней приходит большой, лохматый зверь и нюхает ее всю. Просто ходит вокруг и

нюхает. И каждый раз, когда нос этого зверя касается ее кожи, обычно — в самых интимных местах, ее как будто опалает огнем. Но это мгновенное ощущение. Оно проходит еще до того, как сознание успевает его уловить: что оно, вообще, было. А потом возвращается боль — дочь не знала, откуда, — и нарастает, пока не обращается в наслаждение. Наслаждение такое пронзительное и безмерное, что она просто теряет сознание.

С тех пор мою дочь увлекало только физическое наслаждение. И она наслаждалась так долго и так исступленно, что совершенно забыла про свое тело.

Я говорил ей, что она больна. В конце концов, я же ее отец. Я говорил, что она очень больна. И что все это происходит из-за ее непомерного себялюбия. Нельзя думать лишь о себе.

Но она меня больше не слушала. Теперь она проводила все время с этой своей подружкой, Хитклиф.

И я, отец, ничего не мог сделать. Уже не мог.

Поэт, который состарился, опустил голову.

— Я ненавижу девчонок с их гнусной похотью.

Мой папа не понял, о чем говорит поэт.

Фрост объяснил:

— Теперь у меня только одна цель в жизни. Отрубить головы этим девчонкам. Они слишком красивые, чтобы жить.

Теперь мой отец начал кое-что понимать.

Поэт описал их особенности:

— Хотя они и не любят мальчишек, они таскаются за этими панками и позволяют, чтобы панки таскались за ними; они живут на кладбищах, все вместе. И там занимаются групповухой. Их главные органы — языки. И этими языками они вытворяют такое, что выходит за все пределы человеческого воображения. Вот, скажем, девчонка вылизывает череп, в котором полно червей — и тут же целует подругу в губы. И это только один пример. На кладбищах нет туалетов, так что девчонки делают свои дела прямо в черепа мертвых. И подтираются языками. Они одержимы стремлением к наслаждению и забывают, что надо умирать. Тем более что некоторые из них, теперь и не девочки вовсе.

Мне стало страшно.

И отцу стало страшно, потому что он поверил поэту.

А тот быстро закончил рассказ:

— Она ослабела от недосыпа и недоедания, и я больше не мог ей помочь. Ничем. От нее стало дурно пахнуть. В общем, я вызвал врача, хотя и знал, что она ненавидит врачей. А что мне еще оставалось?

А она мне сказала, что раз я позвал к ней врача, она больше уже никогда не будет меня слушаться. Никогда.

Я был совершенно беспомощен. Я так любил ее, свою дочь.

Я вызвал врача, и она обошлась с ним жестоко и грубо. Я вызвал другого врача, с ним она обошлась еще хуже. Мы переходили от доктора к доктору, словно пытались добраться до царства ужаса, до страны, где нет речи. Ей становилось все хуже и хуже.

И все доктора говорили одно и то же: что жить ей осталось совсем немного.

«Этой девочке, — говорили врачи, — нужен не врач, а священник».

Священник — это такой человек, у кого есть единственный нож, который можно было бы вонзить между дочкой и той, другой девочкой. Я сказал моей дочери, что завтра вечером, от семи до девяти, к ней придет священник. И что он разрешит все ее проблемы. И что она скоро умрет. Дрянная Собака посмотрела на меня так, как будто ее разум уже был мертв, а потом ее вдруг стошнило прямо на меня, и она принялась яростно натирать у себя между ног, хотя я ей ни раз говорил, что там себя трогать нельзя.

Она умерла.

Она умерла на руках у своей подруги, еще до прихода священника.

На моего отца эта история произвела удручающее впечатление. Он еще долго ходил подавленный. Мы вышли на улицу и забрели на то кладбище рядом с домом, где я любила гулять в те годы, когда мне было так одиноко. До того, как меня отправили в школу.

Мы зашли в самый дальний темный уголок. Я как раз думала про тело Киски и, вся в своих мыслях, как-то даже не сразу заметила, что смотрю на нее в упор. Наяву. Наверное, она тоже пошла погулять. Старый поэт тоже увидел ее и воскликнул:

— Вот она! Она тоже из этих!

Он схватил топор, что лежал под деревом.

Киска скорчила рожу и пропала из виду.

Мой отец и его самый близкий друг принялись обсуждать, как отрубить головы всем девочкам-извращенкам, которые поселились на нашем кладбище. Этим девочкам, что живут под землей и суют грязные руки во влагалища своим подругам, а потом вынимают и слизывают с них кровь. И на губах остаются пятна грязи и крови.

Я все поняла.

Я поняла, что Киска надумала сделать со мной. И что мой отец хочет меня убить. И я убежала.

И мы с Киской пропали, вместе.

## **В ПОИСКАХ КИСКИ**

Наконец-то мы с Киской могли спокойно заняться сексом.

Я немного стеснялась и поэтому болтала без умолку. А потом она обняла меня сзади и прижала к себе. Мы сидели на раскрошенной стене у пруда. В пруду плавали утки. Мертвые утки. Я обернулась и поцеловала ее, наверное, потому, что я так долго этого ждала, и еще — потому, что, как мне казалось, так и было задумано, и еще — потому, что я хотела ее. Я прикоснулась губами к ее губам, и ее губы раскрылись навстречу моим. Она попросила, чтобы я прищепила ее сосок бельевой прищепкой. Она говорила мне, что надо делать, и я делала так, как она мне велела, потому что, как мне казалось, я должна ее слушаться, хотя сама я не чувствовала ничего — лишь любопытство.

— А тебе разве не больно? — спросила я, отпуская прищепку.

Она ответила, что обычно делает это сама. И никогда не позволяет другим. То есть, не позволяла раньше. А мне позволила.

Я не чувствовала ничего, или мне просто казалось, что я ничего не чувствую.

Потом я сделала с ней кое-что еще, чего тоже не делала никогда раньше. Я по-прежнему делала все, что она мне велела. Но я боялась причинить ей боль и поэтому делала все, что она мне велела, как бы не полностью, не до конца. Там, на стене у пруда, я прочувствовала почти все, что только можно прочувствовать в жизни.

Она так и не испытала оргазм — или же не смогла испытать оргазм, — может быть, потому что я плохо ее возбуждала и не делала

всего, что она мне велела, или же потому, что пока я пыталась ее возбудить, она заметила мою растерянность и смятение чувств.

Пока мы занимались друг другом, прошли часы; когда я глянула за плечо Киски, ночь была уже не совсем черной; уже очень скоро у начала клубящихся облаков закричит чайка, так что я все же сказала Киске, что я не знаю, что делаю, и что я в полной растерянности.

Либо она просто не поняла, что я пытаюсь сказать, либо ей претила всякая сексуальная несостоятельность и глупость. Я не знаю. В ответ она рывкнула, что кончает один раз за ночь. Всего один раз, не больше. Она развернула меня спиной к себе, взобралась на меня и засунула в меня три пальца. Да, она знала, как это делается — она делала именно так, как мне нравится, так, чтобы мне было приятно, и я кончала, кончала, кончала, и просила ее зачихнуть в меня всю руку, но я была слишком маленькой, и я хотела, чтобы все это продолжалось, чтобы она делала это со мной, пока не закончится само время.

Я смогла сделать ей то, что она не смогла сделать мне: под ее руководством я делала это часами, а потом ей захотелось, чтобы я делала это жестче. А мне было страшно. Я боялась ей что-нибудь повредить, боялась сделать ей больно; но это была отговорка; я знала, что у меня никогда не получится подарить ей наслаждение.

Но с чем я никак не могла смириться, так это с мыслью, что мне, может быть, и не хочется подарить ей наслаждение. Под конец этой ночи Киска ушла от меня.

\* \* \*

Сперва я даже не огорчилась, потому что не понимала, что происходит — во мне и вокруг меня. И только потом до меня дошло, что я оказалась недостаточно хороша в сексе, и что Киска уже никогда не вернется ко мне. А я хотела, чтобы она вернулась, потому что хотела быть и чувствовать, что я есть: что я живая. Тогда мне казалось, что я могу быть и чувствовать себя живой, только если я знаю, кто я.

В то время я не понимала, почему потерять Киску для меня — все равно, что потерять себя. Потом я вспомнила, что когда мы с ней встретились, мы с ней не трахались — мы очень долго не трахались. Но как только мы начали заниматься сексом, мы уже не могли остановиться ни на миг; мы превратили весь мир в одну большую постель — для нас.

Когда я это пишу, я опять выворачиваю реальность наизнанку.

Потому что именно этим мы и занимались, мы с ней. Выворачивали реальность. Превратить мир публичный и мир личный — это значит полностью уничтожить все личное, открыть себя целиком. И не только своей подруге, но и всему, что лежит снаружи. Когда мы с Киской ублажали друг друга, мы доходили до самых дальних пределов той волшебной страны, которая определяется как неизвестное или непознанное и, может быть, в принципе непознаваемое. Я всегда подозревала, что такая страна где-то есть, но я не знала, как мне туда попасть — в страну потерянных воспоминаний, — пока ко мне не притронулась Киска.

Пока она не пошла туда вместе со мной.

Я была абсолютно беспомощна — из-за своей чужеродности. И еще — из-за Киски. Не то чтобы я от нее зависела; тут она ошибалась. Когда мы с ней были вместе, я, скорее, была как ребенок: я все видела, но не могла назвать то, что вижу. Я все слышала, но не могла назвать то, что слышу. Я не чувствовала никаких других запахов, кроме запаха Киски. В мире была только Киска.

И она меня бросила.

К ведьме меня привел сон.

Мне приснилось, что я в тюрьме. Почему — я не знала.

На самом деле, там было не так уж и плохо. Просторная камера с двумя дверями. Одна дверь представляла собою сплошное окно. Вернее, три окна рядом — почти во всю стену. А за стеклом был зеленый сад, очень красивый и геометрически правильный. Он простирался до самого моря, которого было не видно.

Я смотрела на море, которого не было видно, а вторая дверь — слева, если стоять лицом к морю, — открывалась в узенький коридорчик, откуда был выход наружу.

Это была очень милая тюрьма.

Там меня навещали девочки. Много девочек. Значит, мне разрешалось принимать гостей. От меня хорошо пахло, потому что я регулярно мылась — в коридорчике был душ. Вернее, просто кран, длинный и мощный, почти как шланг под напором, так что брызги воды долетали даже до камеры.

Мои подруги-любовницы всегда задавали мне один и тот же вопрос. Когда меня спрашивали: «А почему ты не сбежишь?», — я отвечала, не понимая собственных слов:

— Потому что я не хочу злоупотреблять своими привилегиями.

Когда Ариадна согласилась помочь мужчине, которого считала любовью всей своей жизни, и который собирался убить ее сводного брата, она не злоупотребляла своими привилегиями. Она думала, что у них с ним любовь. Вот только он так не думал. И я думала совсем не об этом, когда ко мне в камеру вошел мужчина. Он был старый и толстый. Он был поэтом. Он вошел, сгорбившись. Еле удерживая картину, завернутую в плотную коричневую бумагу. Картина была большая, почти в половину его роста. Ему все-таки удалось как-то согнуться и поставить картину на пол — голый цемент, — прислонив ее к раскладному столику, единственному предмету мебели у меня в камере.

Потом вошли еще девочки.

— Ага, — сказали они, — так вот где тебя прячут.

— Но я могу выйти отсюда, когда захочу.

«Когда захочу» — это ночь. Мчусь на своем мотоцикле в ночи, как будто лечу сквозь нее. Пока она не закончится, ночь.

Там, во сне, у меня «Вираго», почти такой же, как и те два, что в яви, только какой-то уж очень высокий: еду на грани срыва — боюсь его не удержать. Рычаги управления, кажется, воображают себя руками этой мощной машины, что норовит выскользнуть из-под меня. Они тянутся в черное небо. Все это так странно и непривычно. Я не знаю, как с ними справляться. Так что просто засовываю их подмышки, эти хромированные штуковины. В общем, еду. Пока не падаю. Но знаю, как это опасно. Я стала чужой. Пытаюсь отогнуть серебристые рычаги чуть пониже, перевести в горизонтальную плоскость, насколько они вообще гнутся — лишь бы только не так, как сейчас. Не как решетка на окнах тюрьмы. Дорога все поднимается в гору. Узкий проселок, где нет фонарей.

Потом дорога спускается вниз, бесконечно — и я еду по ней на неуправляемом мотоцикле. Низ — это верх; верх — потолок; потолок — на одном из бетонных этажей в офисном здании. Здание — самое большое в городе. Теперь я еду по краю крыши, где есть узенькая дорожка — вокруг верхушки города.

А подо мной простирается ночь. А здесь, наверху, только бетон, и ничто не мешает движению. Здесь, наверху, на крыше — мой мотоцикл срывается вниз, через край.

Мы падаем вместе. Я бросаю его и хватаюсь за черное металлическое ограждение на краю крыши.

Там рядом — плита затвердевшего бетона. Она выдается над крышей фута на три. Там достаточно места, чтобы пролезть, скорчившись в три погибели, между бетоном и бетоном.

В центре выступа — идеально круглая дыра. Над такой же дырой — отражением, близнецом, — в бетонном полу и в плите под полом. Дыра за дырой, через все этажи. Я лезу, и падаю, и, наконец, добираюсь до самого низа.

Самый низ — это подземный гараж.

И там, на дне мира, меня встречают все остальные девчонки.

— Ой, — кричат они, — ты живая. Не мертвая.

— А я и не умирала.

— Вместо того чтобы попасть в царство мертвых, ты оказалась в подземном гараже.

— У меня нету времени на разговоры, — говорю я. — Потому что мне нужно как можно скорее вернуться в тюрьму, пока никто не заметил, что я сбежала. Если об этом узнают, меня убьют.

Девочки продолжали ходить ко мне в камеру, и я уже начала задумываться: может быть, это не так уж и плохо — жить в этом девчоночьем городе, где мне ничто не грозило, в отличие от остальных территорий Англии, где были сплошные несчастья и бедствия. А потом пришли полицейские.

Такие зримые близнецы Тайной Службы. Они пришли ко мне в камеру, потому что хотели меня. Они были практически на одно лицо.

Я смотрела, как они измываются над другими девочками — делают с ними то, что фашисты в конце «Сало» сделали со своими жертвами. Я увидела кровь на локте.

Теперь все девочки стали мужчинами. Они были мертвы. И меня тоже сейчас убьют.

Мне хотелось понять, почему я такая неуклюжая в сексе, и я пошла к ведьме.

Найти хорошую ведьму оказалось непросто. Я попробовала сесть на поезд. На станции, где я сошла, людей не было вообще.

Зато был океан. И там, на воде, спали рыбацкие лодки; день за днем, или, может быть, год за годом они сохли на солнце. Как будто они — живые.

Это был новый мир. На указателе было написано: « Лондон (Но ты никогда туда не доберешься)».

На другой стороне воды была суша, и там возвышались какие-то здания. На земле, ниже уровня моря — ближе к земному ядру.

Земля — сплошь песок.

Застойный распад. Песок и здания были одного цвета. Пирс потерял связь с землей. В небе светило солнце.

На старой деревянной стене — еще одна вывеска: «Рыбный рынок». Стрелка под словом «рыбный» указывает на «Ресторан наверху: бар и гриль».

Когда я увидела рыбу под этой вывеской, недоеденную рыбу, я сразу подумала про Киску.

В меню на листочке, наклеенном на окно — такое грязное, что это уже было и не окно, — перечислялись все блюда и цены. Цены были высокие.

Людей больше не было.

Внутри дом оказался просторнее, чем снаружи:

Деревянная стойка в баре, такого же цвета, как здешний воздух, протянулась через всю комнату, разделяя ее надвое. В маленьких окошках за стойкой — когда они были достаточно чистыми, чтобы быть окнами, — виднелся песок, смешанный с рыбой. Такое песочно-рыбное рагу.

С той стороны барной стойки не было никакой мебели. Раньше там танцевали. Складные столы и стулья стояли вдоль дальней стены. Там тоже были окошки — с видом на море.

Теперь здесь остались одни животные: в море резвилась молоденькая самка тюленя — нарезала круги на воде, ныряла и выныривала. У нее были длинные жесткие усы. Старый тюлень проплыл мимо. Она уже не моргала: ее глаза стали — сплошные зрачки, открытые всему, что снаружи.

Вода перелилась наружу. Двое тюленей оставались на месте, пока свет уходил из всего остального пространства.

Мне вдруг захотелось в туалет. Там, на пороге, был еще один указатель: «Цирцея ➡».

Я пошла по стрелке, через рощу лавровых деревьев, и вышла к зданию. Мне показалось, что это мертвая больница. Там была вывеска, но она давно стерлась, и поверх стершихся букв кто-то накарябал неумелой рукой: «Цирцея». Я добралась до цели.

Там больше не было солнца.

Внутри были голые стены. Кажется, это был вестибюль. Поскольку там не было никого, чтобы выдать мне пропуск, я прошла через этот вестибюль — в тесную комнатку. Там я села и стала ждать. Но за мной никто не пришел. Тогда я пошла к лифту. Лифт был открыт.

Я поднялась на третий этаж.

Там был пустой коридор. Я помню, как мимо меня проходили больные. Кого-то везли на кроватях с колесиками. Там были люди, под этими простынями. Медсестры в обоих концах коридора наблюдали за этим парадом. Я прошла чуть подальше. На двери слева была медная табличка: «Восстановление груди».

И там, в кабинете, стояла прелестная женщина. В мире нет таких слов, чтобы описать ее очарование. Ее глаза были ярче, чем звезды, искрящиеся на небе. У нее был такой голос, что когда она заговорила, слова как будто ласкали воздух, замерший в восхищении. Не удивительно, что я перед ней оробела.

Она назвала свое имя и сказала:

— Здесь никогда ничего не происходит — вот мой девиз. Если ты, девочка, пришла по делу... я бы на твоём месте поспешила отсюда съебаться.

«шла бы ты, милая, прочь,  
со своим клитором между ног»

...как говорится в народе...

— Я вас умоляю, — сказала я, — не надо меня оскорблять. Пожалуйста. Мне и так больно и плохо...

— А ты, я смотрю, артистическая натура. Из тех, кто сам никогда не возьмет, а будет просить. Нет, не просить — умолять.

— Этот город, — продолжала она, — отравлен чумой. Здесь нет никого, кроме трупов, заклеванных до смерти, и грифов, которые, собственно, и заклевали теперешних мертвецов. Здесь больше не

сделаешь денег, и нам, знаешь ли, положить на богатых. Потому что им нравится жить рядом с источниками культуры, но только — рядом, а не внутри. Внутри культуры живут только бедные. Так что люди, которые тут живут, они либо сами по себе большое богатство, либо охотники за богатством. И сдается мне, ты — из последних.

— О, Цирцея! — воскликнула я. — Я и сама уже не понимаю, кто я!

— Ну, а я здесь вообще ни при чем, — отозвалась она.

А мне так хотелось, чтобы она была здесь при чем. Я хотела, чтобы меня исцелили от недостатка любви в моем сердце, и поэтому я показала Цирцее письмо. Прощальную записку от Киски.

*Я никогда не была одержима сексом, хотя ты и считала меня одержимой.*

*Знаешь, я даже рада, что ты совсем не умеешь трахаться, потому что теперь у меня есть подруга, которая по-настоящему хороша; по сравнению с ней ты — ничто. Уже через полчаса, как мы с ней познакомились, она прижала меня к стене нашей студии порнофильмов, где я работаю, и искусала меня всю. Я до сих пор выхожу на улицу только в свитере с высоким воротом, чтобы скрыть синяки и следы от зубов. Иначе меня арестуют. Жаль, что я не могу показать тебе эти свои синяки. Потом, уже после того, как она меня искусала, я вгрызлась ей в ноги. Но я не оставила никаких отметин. Теперь мы все время вместе: мы не расстаемся с ней ни на секунду, ни днем, ни ночью, а наши ночь — это сплошной, непрерывный секс.*

*На твоём месте, ОI, я бы немедленно сделала что-нибудь радикальное: например, изменила бы всю себя. А то такая, какая ты есть сейчас, на грани смерти... мне до сих пор не понятно, как ты вообще умудряешься оставаться в живых. Если бы все твоё тело и сердце в целом «работали», как твоя пизденка, тебя бы давно уже похоронили.*

— Добрая у тебя любовница, — заметила Цирцея.

Я показала ей свой ответ Киске:

*Дорогая Киска,*

*Я не смогла сделать так, чтобы ты стала моей — и для меня это хуже всего.*

Она отвела меня в операционную, где уже много лет не было никаких операций. Здесь ведьма устроила штаб. По дороге Цирцея сказала, что не сможет меня исцелить. Никто не сможет меня исцелить: мертвых не воскресишь, и утраченное желание не вернешь. Пока она говорила, ее слюна летела мне в лицо.

— Но если ты хорошо заплатишь, может быть, что-нибудь и получится.

Я объяснила, что у меня нет ни гроша, потому что отец не послал меня в бизнес-школу. Но если на меня вылечит, я разрешу ей меня трахнуть.

— Я сделаю все, лишь бы меня снова любили и целовали.

Она взяла меня за руку и отвела к себе в спальню. В бывшую операционную для больных с раком груди. Стены в комнате были зеленые. Посередине стояла кровать. К ней тянулись какие-то длинные трубки — от механизмов, похожих на сказочных зверьков доктора Сьюсса.

Правление Пенфея закончилось. Цирцея велела мне плюнуть три раза, а потом уронила мне между грудей три камушка, которые она предварительно завернула в грязную туалетную бумагу, и прочитала над ними заклятия. Она сказала, что надо проверить мою половую зрелость.

Но я в этом смысле была совершенно не зрелой, и Цирцея сказала, нахмурившись:

— Тебя уже не исцелить.

И развернулась, чтобы уйти.

— А ты испытай меня! — И я бросилась к ней в объятия и попыталась поцеловать ее в губы, пока еще не забыла, как целоваться.

— Может, ты что-то напутала со своей половой принадлежностью, — пробормотала она.

Я впала в отчаяние и начала мастурбировать. Цирцея была здесь вообще ни при чем.

— Никто не сможет меня исцелить, — рыдала я, и мои страдания были предвестием близкой смерти. — И теперь мне уже никогда не найти утешения. Мне уже никогда не смеяться от радости, как смеется ребенок. И это лишь малая часть удовольствий, что дает сексуальное наслаждение...

Мой клитор был маленькой девочкой, что испуганно бросилась прочь и забралась под длинную деревянную доску. Под доской были другие доски; из этих досок сложилась рука. Пальцы цеплялись, сжимали. А еще дальше были пираты.

Эта девочка мне сказала:

— Тебе нужно раскрыться. Раскрыться вовне. И тогда ощущения возникнут внутри, глубоко-глубоко.

— Но сейчас воды спокойны, они затвердевают, они встают. Внутри этих стеблей — вода, и она поднимается снизу вверх; болото выплескивает гнилье, и чешуя дохлых рыбин становится толще; зачем кончать, когда все вокруг — как туман из сверкающих искр; знаешь, я очень быстро кончаю.

После долгой мучительной тишины ведьма вернулась ко мне.

— Есть один человек, который сможет тебя исцелить. Но тебе надо слушаться ее во всем: делать так, как она говорит, а не так, как хочется тебе.

Она жала рукой мою грудь и так, за грудь, подвела к кровати. Которая раньше была операционным столом.

Она сказала, что даст мне попить. Там еще были раковина и плита. Раковина была ржавой, а на плите стояла кастрюля, такая большая, что в ней можно было бы вскипятить чай на целую армию. Цирцея бросила в эту кастрюлю пакет гороха, прямо так — вместе с пакетом, и явно испорченный свиной окорок. Воды она не налила, так что все сразу вспыхнуло. Цирцея выбежала из комнаты...

Все еще мастурбируя, я сказала себе:

— ...воды спокойны, это просто рябь в сером тумане.

Рябь вращается и превращается в воду. Вода затвердевает и стремится излиться наружу, вовне — пока ее дрожь не обратится в конвульсии. И куда меня вынесет этот поток? Но пока что я здесь. Я еще здесь, и клубящиеся испарения только стущаются, искры летят друг за другом, как мошки, и каждая мошка — это крошечный оргазм, и вот уже все сотрясается, крошится, лавиной несется вниз, исчезает во взвихренном круговороте, который не остановится никогда, вниз, вниз, продолжая кружиться, под ритмы вселенной, становящиеся все громче; и как это остановить?

Мне ужасно хотелось пить, и поэтому я разделась.

Ведьма вернулась и сообщила, что чай не задался, так что она меня просто накормит.

— Я сама мяса не ем, так что если хочешь, чтобы тебя исцелили, делай, как я скажу.

Она достала чеснок из бочонка под раковиной, разломала его и очистила несколько крупных зубчиков. Потом взяла лук-порей, измельчила его с чесноком, сгребла с пола пригоршню пыли, смешала пыль с луком и чесноком и втерла все это мне в кожу.

Теперь от меня жутко воняло. Мы с ней выпили по бокалу красного вина и раскурили одну на двоих сигарету.

Я уже не понимала, чем от меня воняет. Я взглянула на ведьму.

Но едва я подумала, что на этом, наверное, всё, и сеанс ворожбы завершен, и мне больше не надо бояться; едва я подумала, что теперь мне уже ничего не грозит — ведьма вернулась. Хотя я даже и не заметила, что она выходила. Она принесла кожаную сбрую и большой серый дилдо. Потом окунула свой инструмент в надтреснутую подставку для яиц и подошла ко мне, виляя бедрами.

Мы, наверное, были изрядно пьяны и не соображали, что происходит. Было больно. Ужасно больно. Я истошно кричала. Может, она меня пожалела — хотя, может, и нет, — но она все-таки вынула из меня эту штуку и втерла мне в губы какую-то мазь.

Сейчас я задам себе пару вопросов.

Возьму у себя интервью.

Корреспондент: Эта мазь пахла так же, как пахла ведьма?

Я: Да.

Корреспондент: Можете описать этот запах?

Я: Так пахнет от ведьмы, которая только что умерла.

Корреспондент: Что было потом?

Я: Она протерла мне бедра соком кислой капусты. Я решилась задать ей вопрос.

Корреспондент: Какой вопрос?

Я: Зачем?

(Пауза.)

Она сказала, что мне надо учиться не принимать Мать Природу всерьез. И что она будет меня учить. Она мне покажет, что один овощ ничем не хуже и не лучше другого. Она надела перчатку, чтобы

защитить руку, взяла стебель крапивы и принялась стегать меня по животу ниже пупка.

Я решила, что с меня уже хватит боли. И я убежала.

Корреспондент: Она не из тех, кого можно хоть чем-то разжалобить — как бы ты ни старался.

Я: Я поняла это только потом, когда я от нее убежала.

Только потом, когда я убежала, я поняла, что она была самой желанной женщиной — потому что она, единственная на свете, знала все. Абсолютно все. Если бы только она проявила хоть малую толику сострадания к моему невежеству и разрешила бы мне побороться с собой, лишь бы остаться с ней, лишь бы она согласилась меня учить, меня, совершенно никчемную, не приспособленную ни к чему, меня, проебавшую свою жизнь, Киска, где ты? Ночная ведьма, где ты? Я даже не знаю, доведется ли мне снова с кем-нибудь поговорить, то есть *по-настоящему* поговорить, вот как я одинока, если бы только та ведьма меня полюбила, но я уже даже не знаю, где ее искать. Быть может, моя сексуальная половина, которая теперь отмерла, была такой и задумана изначально, или, может, ее умертвило наше мертвое общество, или другие ведуни похоронили ее заживо. Я не сказала ни слова против, когда она натирала меня этими мерзкими мазями и стегала крапивой, потому что я знала, что виновата: я была гадкой, дрянной девчонкой, я всегда была гадкой девчонкой, — и мне нужен был кто-то, кто пожалел бы меня, проявил сострадание. Но «кто-то» — не значит, что абы кто. Мне нужна была ведьма. Настоящая ведьма. Но она меня вышвырнула за дверь.

Так что теперь я вообще ничего не могу в постели.

Дай мне только вернуться к моей давней любви, дай мне вернуться к моей любви, пусть даже эта любовь исхлестала меня крапивой по напряженным соскам. На самом деле, это было не самое худшее, что она со мной делала: Однажды она заставила меня пройтись голдой, в одних ковбойских сапогах, вдоль оживленного шоссе в Италии. Она заставляла меня мастурбировать в баре в Берлине, и там сидела какая-то немка, и наблюдала за нами, и потому что она наблюдала за нами, ей стало противно, и она ушла. В то время, насыщенное желанием и слезами, жизнь была так восхитительно хороша; а теперь, по ночам, я засыпаю, зажав между ног подушку и представляя себе, что это моя потерянная возлюбленная.

Ночь за ночью.

Другие тоже подвергались преследованию богов, затравленные непреклонной судьбой, те три женщины с длинными волосами, не я одна.

Ариадна любила мужчину и ради него пошла на преступление: сделалась соучастницей братоубийства, пусть даже ее сводный брат был чудовищем. И тем самым распутала нить лабиринта. Мужчина, ради которого она сделала все и, может быть, даже чуть больше, ради которого отвернулась от всех в своей жизни — лишь бы только быть с ним, — ее бросил. Она осталась одна. И у нее не было никого, к кому обратиться за помощью. У нее не было ничего — даже жизни.

В точности, как у меня.

И тогда я воскликнула вслух: Мне надо избавиться от Киски!

## **ПЕРВОЕ УТРО МИРА**

Духи и призраки существуют. Смерть — это еще не конец.

Киска вернулась ко мне во сне — в облике мертвой.

Ее волосы были такими же, как и в день смерти. Она стояла у меня в изголовье. Так близко, что я чувствовала ее запах. Она сказала:

- Духи и призраки существуют. Смерть — это еще не конец.
- Бледно желтые тени выходят из покоренных могил.

Киска наклонилась ко мне под рев только что похороненной автострады. И я уже не могла заснуть, потому что я вдруг поняла, что любовь — это всего лишь смерть, моя постель и новое царство озноба и боли.

Она была точно такая же, Киска, как и в день, когда ее похоронили: те же волосы на лобке, те же глаза. Ее рубашка слегка обгорела с одного бока, но жемчужина, вправленная в кольцо, которое Киска носила всегда, не снимая, вобрала в себя огонь. Смерть окрасила ее губы черным и синим. Она выдыхала чистейшее вдохновение и произносила слова, и хрупкие мертвые кости тихонько потрескивали под кожей:

Развращенная девочка, но с надеждой на лучшую участь,  
ты уже спишь. Как ты сумела заснуть?  
Ты уже позабыла наши отчаянные грехи:  
ночные обманы, как я лезла к тебе в окно  
по веревке, которую ты мне спускала,  
    сколько раз – я уже перестала считать,  
и веревка была как петля у тебя на руке,  
не на шее!  
Секс нередко случается на людях, когда уже нет сил терпеть;  
разгоряченная кожа повторяет изгибы улиц.  
И наш безмолвный с тобой уговор, оказавшийся лживым насквозь,  
разорвал ветер в ключья своей немотой!

– Слушай. Когда я умирала, рядом не было никого. У меня в жизни не было никого. Я была абсолютно одна. Если бы ты не бросила меня, ОI, все могло бы сложиться иначе.

– Если бы ты осталась со мной, я бы сделала для тебя все. И сейчас я бы жила.

– Мертвая, я не нужна никому. Никто не приходит ко мне на могилу, чтобы разогнать демонов и упырей, хищных птиц и ядовитых змей. Вот что такое реальность: мы могли бы быть вместе, но я умерла, и когда я умерла, глухой ветер уронил мне на голову кусок кирпича.

– Вот что бывает с теми, кто любит.

– Ты все ноешь, что я тебя бросила. Но на мои похороны ты не пришла. И ты не плакала над моим телом, когда его опускали в могилу.

– Может быть, ты не пришла на похороны, потому что боялась сломаться – боялась, что просто не выдержишь столько боли. Потому что реальная жизнь – это боль. Может быть, ты не пришла, потому что никак не хотела смириться с мыслью, что меня уже нет, и мы больше не будем вместе. И я уже не смогу тебя защитить, и особенно – от одиночества. Или, может быть, ты не пришла, чтобы вдруг не проникнуться мыслью, что ты тоже умрешь. А если так, ОI, то почему ты позволила, чтобы меня похоронили? Ты могла бы их остановить. Ты уже делала так, и не раз. Я знаю. Даже когда не была влюблена до безумия. Почему ты ко мне не пришла, когда я лежала в гробу еще в морге? Ты могла бы лечь рядом со мной, могла

бы трахнуть меня рукой — и не было бы никаких похорон. И почему ты не бросилась в пламя, когда мое тело сжигали в печи крематория? Мы могли бы заняться там сексом, в огне. Знаю, что ты увлечена Ближним Востоком. Ты могла бы меня спасти, если бы захотела. Но ты ничего не сделала, ничего. Потому что ты не хотела, чтобы я жила.

— Неужели любовь ничего для тебя не значит?

— Я не прошу ничего сверхъестественного. Я говорю о простом человеческом отношении. Ты могла бы купить мне духи. Думаешь, мне приятно ходить-вонять — теперь, когда я умерла? Ты могла бы взять с чьей-то могилы цветов и принести его *мне*. Ты могла бы меня напоить. Допьяна. Красным вином. Да, это было бы лучше всего. А потом мы бы с тобой развлеклись.

— А что еще делать мертвым?

— Ты не умеешь любить, ОI. Вот в чем твоя беда.

А я ей сказала, что это она не умеет любить. Поэтому и умерла. И мне очень обидно выслушивать эти упреки, ведь я всегда оставалась ей верной. Потому что люблю ее сильно-сильно.

Я ее не бросала.

Это она меня бросила.

Но она как будто меня и не слышала. Как это было всегда, когда мы были живы. (Или это была не она, а всего лишь оживший труп с волосами, как у моей любимой.)

— И вот оно, лишнее подтверждение, — сказала я. — Тебе всегда было плевать на меня. Всегда.

— Ты меня сильно обидела, — сказал труп. — Но сейчас у тебя есть возможность исправиться и доказать, что ты умеешь любить.

— Помнишь Наливку и Имечко, наших с тобой одноклассниц? Они сговорились против меня. Имечко плюнула в бокал с красным вином; Наливка передала бокал мне. Потому что им было завидно, что у нас с тобой все хорошо в постели.

— Вот что ты сделаешь: ты сожжешь ногу Наливке и заставишь Имечко признаться, что ей нравится убивать людей. Знаешь, Имечко раньше была проституткой. Дешевой уличной шлюхой. Причем, не просто дешевой и уличной. Она промышляла в таких закоулках, куда не сунется ни одна уважающая себя проститутка. И брала в рот у каждого, кто хотел ей засунуть, чуть ли не забесплатно. И ее слюна стала, как яд. Как отравы. Лепесток, принесла мне цветы на

могилу. Имечко плюнула на цветы, а потом — на Лепесток. Сейчас Лепесток вся в морщинах.

— Помнишь Лаладж? Ту малышку, что все время ходила за мной и обожала все, к чему я прикасалась. Имечко добралась и до нее. И этот ребенок, забыв, кто такая Имечко, назвала ей мое имя. Имечко перекрутила ей волосы и подвесила на волосах на гвозде. Никто не знает, как она мучается, малышка.

— Я знаю, ОI: ты великий поэт, и все твои стихотворения — обо мне. Я не отрицаю, что эти слова хранят любовь. Любовь ко мне. Но мы обе знаем, что слова — лживы. Я не стану тебя осуждать и не стану тебя ненавидеть за то, что ты лжешь каждым словом. Я знаю, что вся твоя жизнь — во мне. И я клянусь тремя норнами, этими старым ведьмами, что распорядятся нашей судьбой, или этой собакой о трех головах, я клянусь моей мамой, и пусть мир услышит эту нежность в моих словах и будет нежен и ласков со мной, так вот, я клянусь: я люблю тебя и всегда буду верной тебе. Ты почему-то решила, что я тебя бросила. Но у меня никогда не было никого, кроме тебя.

— И если я лгу, пусть змея, похожая на мужской член, свернетсся кольцом на моих костях, и поселится там, у меня в могиле, и будет шипеть на меня непрерывно.

— Потому что я люблю только тебя.

Теперь мои чувства вернулись к жизни, проснулись после столетнего сна, подобно Спящей Красавице — ибо чувствам положено спать, и особенно самым кошмарным и мерзким. Теперь я стала свободной, еще до того, как проснуться, и попросила Киску: расскажи мне про смерть.

Киска откинула со лба свои длинные влажные волосы, что были под ней и над ней, и сказала:

— Загробный мир населяют демоны. У демонов тоже есть хуи.

Там, в царстве смерти — источник всей человеческой жизни. Мировая вода. Все воды стекают сюда, в смертный мир, и вновь поднимаются вверх. И еще там лежит яйцо — единственный в мире объект без источника происхождения.

Каждый раз, когда наступает конец света, это яйцо разбивается пламенем. И пламя сжигает остатки тройственной реальности.

Там есть еще одно пламя, что зовется Огонь-Кобылица. Вот история этого пламени:

Жил-был один мальчик, которому претила мысль, что на свете есть люди, и что люди рожают детей.

Он не знал, что ему делать со своей неизбывной яростью, и передал ее мертвой лошади. Она сидела в воде.

Напоенная яростью, она сделалась входом в Ад.

Там, на южной оконечности мира, у нее изо рта вырвалось пламя.

Я прошла сквозь эти губы и спустилась до самого низа, минуя загробный мир, населенный демонами, в бездонную яму. В дыру, в пещеру.

Я оказалась в аду, где живут мертвые люди.

Люди умирают, чтобы узнать что-то такое, чего не могли узнать раньше, при жизни. Смерть — это знание. Вот почему и живые тоже ищут пути в царство мертвых. И там я спросила у первого встречного мертвеца, почему в мире есть зло.

И безмянный мертвец мне ответил: «Раньше, до сотворения мира, не было ни добра, ни зла, а потом появились люди, и люди стали рожать детей».

Я: «А до людей что-нибудь было? До того, как они начали трахаться и рожать? До зла и добра?»

Мертвец: «Было».

Я: «Что?»

Мертвец: «Околоплодные воды. Иными словами, то, что было внутри, изливалось наружу и изливается до сих пор, а то, что было снаружи, вливается внутрь, то есть, «внутри» и «снаружи», как таковых, нет вообще. Нет и не было. Были лишь демоны. А когда началось сотворение мира, демоны сделались злобными и испорченными».

Я: «А что их испортило, демонов, ведь тогда еще не было порчи?»

Мертвец: «Они преисполнились яростью. Их взбесило, что в мире теперь появились люди, и что люди рожают детей. Люди использовали свое семя только для воспроизведения себе подобных. Кстати, в те времена семя было у всех: у мужчин и у женщин».

А демоны хотели, чтобы семя всегда оставалось лишь семенем, и они собрали всю сперму, до которой сумели добраться, и замуровали ее в пещере. В темной пещере, в каменной толще высокой горы — на самой вершине, где демоны жили еще до начала творения. Патала. Так называлось их общее чрево. Патала — область потустороннего мира, единое тело всех демонов.

Вскоре демоны собрали все семя, которое было в мире. Но им-то хотелось, чтобы его вообще не было. В мире людей. Ибо демоны сделались жадными и нетерпимыми: нетерпимыми к сексу и порнографии.

Сотворенные люди сотворили себе богов. Боги — может быть, в силу своей природы, может быть, отвечая людской потребности, — были вечно голодными: и людям пришлось их кормить.

Демонам не понравился и такой способ воспроизведения: сотворение посредством воображения. У воображения тоже есть семя. И демоны украли всю пищу, предназначенную для богов, и боги, лишенные корма, оголодали.

Мир, изглоданный голодом, впал в нищету и убожество. Весь мир, кроме демонов — которые не от мира сего. В сотворенной вселенной почти не осталось семени».

Теперь я очень внимательно слушала, что говорил мне мертвец.

Мертвец: «О, боже, — воскликнул один из людей, — и как нам теперь жить?! Как победить зло? Мы даже не знаем, что это такое — зло, но мы все равно голодаем. Зло проникло в наш мир. Может быть, это наша вина? Или наших богов? Может, мы сами призвали свою гибель?»

— Киска, — воскликнула я, — я хочу тебя трахнуть.

Но она продолжала рассказывать, что это значит — быть мертвой:

— Мертвец рассказал мне, как люди устроили демонстрацию, чтобы выразить свой протест против демонов, которые были олицетворением зла — неизбежного, неотвратимого зла, потому что убежище демонов было недостижимо и поэтому несокруσιμο. Все сокровища мира были сокрыты в их тайном хранилище семени.

В общем, люди кричали и возмущались, но боги кричали гораздо громче, потому что они не хотели умереть от голода. Они были — боги, а боги всегда истеричнее людей: они более эмоциональные, они быстрее впадают в отчаяние, и напугать их значительно проще.

Боги поняли, что без помощи демонов им не выжить. И они обратились к одному демону, который был не такой, как все. Который убил своего отца. Который был сам по себе — потому что везде был чужим, даже среди своих. Он жил на кладбище вдали от людей и других демонов. Компанию ему составляли змеи и крысы, извечные спутники демонов. И его не заботило семя. Он правил в своем одиночестве, пусть даже подданных у него не было.

Я: «Это же мальчик-панк!»

Мертвец: «Однажды подруга мальчика-панка, Крыска, спросила, почему он так любит кладбища».

И вот что ответил ей мальчик-панк:

«Я увидел, как мой отец пялит мою сестру. И я подумал, что надо это прекратить. Когда я отрезал ему голову — голову, а не член, — я стал еще более одиноким.

Его голова скатилась мне на руки, и остается у меня в руках по сей день. Видишь, он похож на яйцо, этот череп. Две его половинки я называю *небесами* и *агом*».

Слова мальчика-панка возбудили его подругу. Ее возбуждало все сущее.

Мертвец помедлил.

«Мальчик-панк выслушал богов и согласился восстать против своего племени».

Я: «Почему?»

Мертвец: «Он не хотел оставаться прежним. Он был одинок, и поэтому знал: он чужой даже среди своих, а это значит, что своих у него и не было. Вот почему он ушел от всех.

Вот почему он поселился на кладбище».

Я: «И ему было не страшно на кладбище, одному?»

Мертвец: «Если у жизни когда-нибудь снова появится шанс проявиться в мире, это будет жизнь в *небытие*».

Мальчик-панк согласился, по своим собственным, панковским причинам, выступить против демонов; он использовал землю как средство передвижения, чтобы добраться до дальней страны у себя в сознании; он сражался и победил, разгромив своих, которые были ему не свои.

Город демонов затопило водой и выжгло огнем: тело тонуло в воде и стирало в пламени.

Крыска вышла на это взглянуть. Как будто она никогда в жизни не видела гибели и разрушения. И вот, наблюдая за тем, как мир превращается в могилу, она увидела здоровенную толстую крысу.

Крыса — вернее, крысук, — сидел у нее на коленях.

«А ты кто?» — спросил он.

Глупая девочка не узнала своего собственного ребенка. Мальчик-панк не хотел, чтобы у них были дети, так что этим ребенком был сам мальчик-панк, весь в крови и в ошметках плоти убитых им демонов.

Если у жизни когда-нибудь снова появится шанс проявиться в мире, это будет жизнь в небытие.

Или так: вот мир павших демонов. Мир как сплошная могила. Ребенок плачет.

Он видит женщину, про которую думает, что она его мама, и тянется к ее груди. В самом конце — или, может быть, в самом начале, — мира. Она видела ужас и смерть; мир только что рухнул у нее на глазах: она вся в крови и в ошметках плоти.

Он хочет кушать. Хочет выпить ее всю, до капли. Его жажда сильнее, чем жажда любого ребенка, который не знает отказа ни в чем. Он выпивает весь ее страх перед мужчинами, всю ее злость на мужчин, весь ее ужас.

Теперь, освободившись от страха и злости, она поняла, что крысенок — это ее любовник. Мальчик-панк.

Вот что значит быть мертвым, — сказала мне Киска.

Но я знала, что это неправда. Хотя Киска пришла ко мне в обличье трупа, она была не мертва. Киска — неисправимая лгунья.

И всегда была лгуньей.

Даже когда мы лежали в постели: она — снизу, я — сверху.

Она меня бросила, Киска; а я хранила ей верность. Всегда.

Мне хотелось сказать ей, что такое смерть на самом деле. Смерть — это потеря любви. Единственная настоящая смерть — это потеря любви. Я спорила с Киской, потому что она была лгуньей; я с ней спорила так же, как она — со мной. Что начало всего, что есть в мире, заключено в сновидениях:

Мы были в школе. Я шла за тобой.

Как только мы поняли, что нравимся друг другу, мы сбежали из школы и от моего папы. У нас был секс, много секса.

Помнишь: на утро после той ночи, в первое утро мира, я увидела, как ты сидишь за столом вместе с другими девчонками. И ты оттолкнула меня, на глазах у всех — я не знала там никого, — но ты отвергла меня *перед всеми*.

Ты не знаешь, что было дальше. Ты не знаешь, как мне было плохо. Ты вообще ничего не знаешь.

Когда ты меня оттолкнула, мир превратился в сплошной пустырь. А я не хотела быть на пустыре. Но мне некуда было идти, потому что весь мир превратился в безбрежную пустошь, так что мне оставалось одно: вообще не быть. Но не быть — это страшно. Не

быть — это невыносимо. И я поползла, как безногий пират, из этого места, где одна пустота, к тому единственному пространству, что еще оставалось...

Во мне, у меня... клочок земли... у меня в голове... смутное воспоминание...

Порывшись в памяти, я припомнила двух девчонок, которых любила раньше — до того, как узнала тебя. Пока я не узнала тебя, у меня в жизни не было никого.

Я выбрала К——, потому что она была плаксой, и ходила за мной, как хвостик, и я совсем ее не боялась.

Я ужасно стеснялась, но у меня, кажется, не было выбора: я позвонила К——. Но как только мы разговорились, я перестала робеть и стесняться прошлого.

Пока она мне рассказывала о себе, что теперь она — он, и общается только с мужчинами, я наклонилась и открыла коробку, которую кто-то поставил мне под ноги.

Ты опять врешь мне, Киска. Я еще не великий поэт. Да, я стану великим поэтом — но это будет еще не скоро. Зато я лишний раз убедилась, что ты ничего про меня не знаешь.

В коробке лежали книги. Мои стихи на голландском. Книжка вышла в голландском «Пингвине». Да, я была настоящим поэтом.

Теперь, когда у меня вышла книжка, можно было звонить И——, другой девочке. Если бы я позвонила ей просто так, она бы не стала со мной разговаривать... но теперь, когда меня издали в голландском «Пингвине»...

С И—— все было так же, как с К——: я любила ее, а потом бросила.

Пока я искала ее телефон — я ненавижу искать телефоны; сразу же начинаю беситься, — так вот, пока я искала ее телефон, я одновременно рассматривала свою книжку. Там, внутри, были мои фотографии, почти в обнаженном виде — в свое время я много снималась для порноизданий, — фотографии, подтверждавшие мое криминальное прошлое.

Вот только прошлое, как оно представлялось на этих фотках — на самом деле, такого не было. На одном снимке, там, где на мне было боа из перьев, я стояла, наклонившись вперед так низко, что грудь откровенно вываливалась из бюстгалтера. Бюстгалтер был изысканно сексуальным, и, вообще, выглядела я шикарно. Но ведь это неправда. Когда я снималась для порно, в этом не было ничего

изысканного и шикарного. Секс-бизнес — занятие сомнительное и грязное.

Наверное, та фотография была из твоих снов обо мне.

Мертвая девочка не ответила. Мертвые никогда не отвечают.

— У меня чуть не случилась истерика. В моей книге почти не осталось стихов. Там были только мои фотографии в образе порнографической девки с пиздой напоказ. Я знала, кто виноват. Мой агент! Она виновата во всем, что со мной было плохого...

Теперь мне было просто *необходимо* связаться с К—— и И——. Других подруг у меня не осталось. Они — последние. У меня был телефон, только он не работал. Потому что я больше не знала никаких номеров. Каждый раз, когда я набирала номер, этот номер тянул за собой другой номер... и все эти бессмысленные номера складывались в лабиринт, лабиринт внутри телефонной трубки, лабиринт, из которого мне уже никогда не выбраться. Никогда. Похоже, теперь я и вправду обречена.

Обречена на неизбывное одиночество.

Потом я оказалась в каком-то книжном магазине, где все стены были заставлены книгами. И что самое удивительно и приятное: хозяйкой этого магазина была К——, моя подруга, которую я искала.

Я хотела послушать стихи — в магазине как раз начинались чтения, — но мне пришлось слушать, что говорила мне К——. Она говорила, и ее слова оживали: мой агент ведет переговоры с голландским издателем. Издатель пролистывает мою книжку и говорит: «Материал устарел». Я поняла, что он имеет в виду: мои порнографические фотографии.

«Нам бы сюда пару снимков, где она пишет», — продолжает он.

Мне пришлось выслушать весь разговор этих придурков, до последнего слова, а мне так хотелось попасть на чтения. Потому что сегодняшний поэтический вечер обещал быть интересным: одна итальянская поэтесса читала свои стихи. Женщина и итальянка — это действительно многое значит. Мне очень хотелось ее послушать. Но со мной приключилась истерика. Я все повторяла: «Нет, так нельзя! Это нельзя издавать! Это же моя книга! И я не хочу, чтобы люди подумали, что я и вправду такая: низкопробная шлюха с грязных порно-картинок!» Как будто мне было не все равно, что подумают люди.

К—— сказала, что я могу позвонить с ее телефона. Это был первый лучик надежды за всю мою беспросветную жизнь. Надежда

стала началом бунта: я поняла, что надо сделать! Я обзвоню всех своих любовниц!

Я им скажу: «Я тут придумала одну штуку. Надеюсь, у нас все получится...

Вы проникните в «Пингвин» под видом подлинных служащих. Все равно никто из настоящих «пингвинов», и уж тем более — тамошний босс, не отличит одну женщину от другой. Ничего делать не нужно: просто слегка просверкайте сиськами. Как я на тех фотках.

Вам надо внедриться в «Пингвин» до того, как моя книга поступит в продажу. И там, в издательстве, в лабиринте из книг, вы найдете мою — и на каждой моей порно-фотке тисните штамп. Большими жирными буквами: ЛЕСБИЯНКА.

Вам все ясно, девочки?»

И все получилась, как я задумала. Большие пингвины даже и не заметили, что штат их сотрудников изменился — как и содержание их книг. Они вообще не читают книги, которые издают.

Так что лучше я буду живой, чем мертвой, — закончила я. — Живым всяко лучше, чем мертвым.

Услышав эти слова, мертвая девочка отвернулась и сразу ушла. Она опять меня бросила.

Но я знала: на самом деле, она не мертва — и поэтому я ее бросила.

Освободившись от ее давних объятий, освободившись на краткий миг от своих сексуальных желаний, я проснулась. Проснулась и сразу спустилась вниз, на дно мира. Туда, где девчонки уходят в пираты. В первое утро мира.

## ИСТОРИЯ АНТИГОНЫ

*Гегель, или паноптикум, видит все, кроме начала мира. В этом начале, которое до сих пор только начало, была — есть — молоденька девчонка.*

*Неважно, как ее имя. Ее называли Король Киска, Кисонька, Остракизм, О, Анж. Одно время ее называли Антигоной...*

### Из личного дневника Антигоны

так что я сбежала вырвалась за пределы бросила все называйте, как вам больше нравится

потому что все это — кусок дерьма. Этот мир, где я жила. Я не буду вдаваться в подробности, потому что любая подробность — это лишь повторение, это все уже было, и все повторялось опять и опять, вся история, все истории, что существуют с начала времен и повторяются снова и снова, зайдите в любую книжную лавку, и вот они — все истории, все наши истории, ну, пусть не наши, но мои — точно, эти бесконечные повторения, которые я называю образами, для меня они как тюрьма. Как тюрьма. Куда меня собирался упрятать Креон, мой так называемый папа, хотя он и не настоящий мой папа, для этого он недостаточно извращен. Хотел упрятать меня в тюрьму. С глаз долой. Хотел отрезать мне голову — даже страшно подумать, чего он хотел еще.

Я не стану жить в мире, где паранойя — единственный способ познания.

Если бы этот мой новый папа запер меня в тюрьму, это было бы повторение, потому что... знаете, что такое тюремная жизнь? С чувственной точки зрения тюремная жизнь — это сплошная скука, потом — принудительное исчезновение личности, потому что тюремная жизнь — это сплошь повторения, так что я и раньше жила в заточении, до того, как Креон собрался упрятать меня в тюрьму, до того, как настало то будущее, из которого я сбежала, будущее, в котором Креон заключил меня в тюрьму.

Так началось царство сплошной тюрьмы. Так началось царство лжи. Рядом. Бок о бок. Тюрьма и ложь:

Не волнуйтесь. Я все объясню.

Вы не знаете, кто мой отец. Вы даже не знаете, что у меня был настоящий отец. Но, опять же, вы меня просто не знаете. Имя моего отца было напрочь забыто, потому что — как мне сказала одна девчонка, — он был преступником и убийцей. Он был отпетым мерзавцем, законченной швалью. О таких, как он, не говорят. Потому что в нем не было ничего человеческого. Мой настоящий отец воплощал в себе все, что есть в мире враждебного человечности. Вот почему мне всегда говорили, что у меня нет отца.

В частности, так говорил Креон. Мой поддельный отец.

Я знаю, что сделал мой настоящий отец. Я знаю все, что он сделал — так что я знаю, чем пахнет моя кровь. Я знаю, что это значит: быть человеком. И я никогда этого не скрывала. Когда мне говорили, что у

меня нет отца, я знала, что самым своим отрицанием они подтверждают, что он был и есть; они выдавали себя за него, за моего отца, виновника моего кровосмесительного рождения — каждый раз, когда они мне объясняли, какая я гадкая, дикая и распутная.

Мне хотелось вернуться туда, к моему рождению.

Надо ли мне называть имена моего рождения — вам, которые думают, будто им запрещено произносить эти слова?

Мой настоящий отец воздвиг свое царство на отцеубийстве, но отцеубийство скрывало еще более тяжкое преступление: исчезновение женщин.

Да, у меня есть свои недостатки, но я, бля, никогда не вру, и мне, бля, все надоело, так что я бросила все к чертям и уехала на своем мотоцикле. Антигона на мотоцикле. Креон грозился упрятать меня в тюрьму, а взяла его деньги и потратила часть этих денег на покупку японского мотоцикла. Чтобы касаться ногами земли.

Я сказала себе: надо отсюда валить. И еще надо учиться видеть.

И я кое-чему научилась, когда увидела сон. Вечером накануне я каталась на своем мотоцикле по каким-то проселкам, которых не знала. Я вспоминала о том, что теперь мы с сестрой остались одни. Может быть.

В тот вечер:

ночь — горы — там были какие-то люди, они сидели в озерах.

Гребни гор упирались во тьму. Озера скрывались в расщелинах.

Вся страна — горы.

Чуть позже. Мне захотелось вернуться к горячему черному озеру. И войти в воду. В холод.

*Ийти* значит *вернуться*.

Когда у меня получилось вернуться, случилась беда. Теперь рядом со мной был какой-то мужчина, намного старше меня. Но я не смогла войти в воду, потому что нам надо было успеть уйти до того, как несчастье захватит всю землю.

Ему надо было в больницу, моему спутнику, но единственная больница, куда я могла его отвести, единственная больница в округе располагалась внизу — в темном, зеленом мире. Я просидела в приемной всю ночь: ждала, когда он выйдет из операционной.

Ждать было скучно, и, чтобы как-то разлечься, я слушала пластинки. На вертушке. Произведения Артура Миллера. На стороне 1. На стороне 2 были какие-то песни.

Проигрыватели-вертушки давно уже вышли из употребления. Ими больше никто не пользуется.

Операция закончилась; он вышел ко мне.

Под самой нижней землей есть земля трущоб: узкие тропки проходят между хибарами из алюминия и бумаги, отделяя их друг от друга. Дома — только стены и ничего больше. В грязи, перемешанной с мусором, видны глубокие дыры. Какие-то странные пятна. На веревках, протянутых между бумажно-алюминиевыми строениями со слепыми окнами без стекол, сушится выстиранное белье.

Я забралась на вершину этого грязевого холма. Я прошла мимо ряда дверей в бумажно-алюминиевой стене справа. И открыла четвертую дверь. Там, внутри, была пара геев.

Там были еще какие-то люди, и все мы набились в машину...

В этой машине, которая ехала по дороге, парень, похожий на моего бывшего бой-френда — потому что он был такой же худой и блондинистый, — сказал нам:

— Я еду в Японию.

Его, наверное, никто не слушал, потому что никто не спросил, почему.

— Я еду в Японию лечиться от алкоголизма. Мы здесь все алкоголики.

Я подумала, что в этом есть свой резон. И тут парня стошнило. Прямо на меня.

Я сказала ему, что мы едем навстречу беде. Сейчас весь мир мчится навстречу беде, и, собственно, все уже началось: всемирное бедствие.

Это случилось ночью, в горах. В ту ночь, когда я вернулась в горы. В какой-то миг, заключенный внутри той ночи, кто-то шагнул вперед, но под ногой не оказалось земли. Земля распадалась на части, земля исчезала. Земля превращалась в сплошную грязь. И вскоре там не осталось уже ничего, кроме этой хлюпающей грязи.

— Его затопляет, наш материк в северо-восточной оконечности мира. Он уходит под воду, — повторяю я, чтобы все меня поняли. Все, кто был в той машине, которая ехала по дороге. —

Единственный способ остановить это неудержимое погружение, единственный способ спасти хоть что-то от нашего мира — перетащить всю воду, что теперь стала частью суши, на север. В Канаду.

Но я знала, что это неосуществимо на практике — что наша часть мира обречена.

Когда мы вернулись в тот дом из бумаги и алюминия, парня опять стошнило. И опять — на меня. Я ненавижу запах блевотины. Больше всего на свете я ненавижу запах блевотины и лоботомию. Может быть, со мной что-то случилось в детстве — что-то, чего я не помню. Я достала салфетку, левой рукой, и стерла с себя эту теплую жижу. Потом бросила эту салфетку, которую я называла «блеводной салфеткой» в раковину на кухне. Раковина была белой. Я тщательно вымыла левую руку.

Пока я мылась над раковиной, мне представилась татуировка в стиле европейского графического романа.

Я смыла с себя всю блевотину. Пит, которого я знала и в яви, за пределами сна, сказал вместо того, чтобы спросить:

— Давай-ка посмотрим твои татушки, — и, не дожидаясь ответа, задрал футболку у меня на спине, так что мне пришлось отойти от блевотной салфетки, что лежала в раковине.

В левом углу.

Я подумала: ему просто хочется посмотреть на меня голую. Но какого черта?! Я не люблю, когда меня видят голой.

Он смотрел на меня, и я думала: хорошо, что он на меня смотрит. Это всегда хорошо, когда на тебя кто-нибудь смотрит.

встала рано, сразу же села на мотоцикл, на следующее утро, пока-пока, папа, я его похоронила, так что все кончено

Воспоминание о голосе Креона: Женщин надо учить подчиняться, так же как и мужчин

после кошмарной поездки через пустыню, 106 градусов по Фаренгейту бьют по башке

какая она все-таки безобразная, Калифорния, здесь, вдалеке от океана. Равнина — как плоскость, но еще не настолько плоская, чтобы небо над нею казалось больше, чем просто небо. Здесь

ничего не растет, на этой желто-коричневой плоскости. Здесь ничего не растет.

— И рыбу там ловят в плавательных бассейнах, — как сказала об этих краях одна блондинка из мексиканской закусочной.

Здесь почти нет дорог, кроме одной автострады. Когда я снова съезжаю с шоссе, чтобы заправиться, дальнбойщик, стоящий в очереди за мной, говорит, что меня, наверное, оштрафуют на превышение скорости — тот коп, что гнался за мной по шоссе.

— Нет, он спешил на пожар.

Кстати, там было два копа. Второй тоже ехал за мной, а потом обогнал.

Там что-то горело. Во многих местах, вдоль дороги.

Второй дальнбойщик интересуется, не сварюсь ли я в своей кожаной куртке. В ответ я спрашиваю, что случилось с погодой. 106 градусов — осенью!

Он отвечает, что погода, она как правительство: никогда не знаешь, что оно там затеет назавтра.

— Ну, почему же не знаешь, — может быть, я веду себя слишком самоуверенно, подавляю народ своим авторитетом, — например, можно с уверенностью сказать, что оно отберет у тебя все деньги. — Мне вспоминается один старый друг, бывший друг, способный, наглый, напористый журналист. Так вот, однажды он написал в одной из своих журнальных колонок, что все люди, которые более-менее чего-то стоят, живут в Нью-Йорке. Потому что вне этого города нет ничего...

Мы с дальнбойщиком рассмеялись.

От этого солнца у меня скоро мозги расплавятся.

Опять — на дороге. Я уже начинаю тревожиться: может быть, плавящиеся мозги — основная причина дорожно-транспортных происшествий. Потому что теперь вся автострада — сплошные аварии, автомобильные или мотоциклетные. Сложно сказать наверняка. Все — в одной куче. Жуткие разноцветные груды из оторванных человеческих рук и ног и искореженного металла. И все присыпано битым стеклом. Асфальт залит красным. Красные прожилки, красные узоры: алые отражения солнца, забывшегося на небе. Ночи сегодня уже не будет.

Мои мозги.

Я еду по этой дороге уже много часов: и теперь все меняется: Холмы, дома — как будто здесь начинается мир. Горный кряж, где дороги петляют и выются, поднимаются вверх и ныряют вниз — сквозь плотный воздух, который как будто завис над миром.

Я продираюсь сквозь этот воздух к скоплению каких-то заброшенных зданий. На одном здании — вывеска. «Мотель». Повсюду вздымаются горы.

Как он там говорил, тот мужчина, которого звали Креон?

Для этой мерзавки темница не подойдет. Замуруйте ее в пещеру. Похороните ее заживо — оставьте ей там еды, чтобы никто потом не говорил, что Государство в моем лице, ибо я есть Государство, заслуживает порицания за жестокосердие. У нее будет достаточно времени, чтобы вспомнить всех мертвых, которые были забыты. Пока она будет сама умирать от голода.

...я подъезжаю к щиту, на котором написано: «Проезда нет: дорога в аварийном состоянии».

Я решаю пройтись пешком.

Все у меня под ногами и все, что вокруг — коричневое, кроме зелени, которой здесь больше, чем неба: бурого неба над головой. Если пройти еще дальше, то куда-нибудь я, наверное, приду.

Я поднимаюсь еще с полчаса и уже вижу гору из соседнего мира.

В этом мире цвета различаются четко: вот зеленый, а вот — коричневый. Линия цветораздела, как я ее вижу, располагается параллельно горизонтали, на которой стою я сама на своей горе.

Когда я была маленькой, мне однажды приснился холм, который был не совсем горой. У него была странная форма: нечто среднее между маленьким зверьком и мужским членом. Потом я увидела такой холм наяву, на западе Англии. Верхняя половина горы, на которую я сейчас смотрю, такая же, как те холмы: в Англии и во сне из детства.

Солнце облизывает ее склон.

Переписываю, пока мастурбирую, чтобы можно было писать — то есть, видеть — более четко и ясно:

войти туда — значит пройти гору насквозь: замок, там в замке — изысканные, запредельные удовольствия, бархатные одеяния и царский пир, и еще — круглый стол, только теперь он прямоугольный

взобраться на эту скалу — значит кончить

Я собираюсь войти туда: к воде; сейчас жарко; бревно лежит у воды; мухи и тараканы — повсюду; мухи хотят облепить меня всю, стать моей второй кожей, но я говорю им:

— Кыш.

все начинается глубоко внутри, в самой чаще этого леса, и наружу ему не выйти. Холодный лес исчезает, потому что сейчас я могу кончить в любую секунду; я заблудилась в лесу; это и есть любовь; кончить еще раз — как перелезть через изгородь, на прилегающую территорию. И еще раз, и еще. Бесконечно.

Меня так и не оштрафовали за превышение скорости.

Доктор вводит свой инструмент мне под кожу. Ведет по ноге — изнутри. Инструмент выходит наружу под моей правой срамной губой: я наблюдаю за тем, как доктор делает дырку у меня в бедре, на внутренней стороне. Я смотрю на него и думаю: я не хочу, чтобы то, что сейчас происходит, происходило. Я не хочу. И в то же время я думаю: это не важно, что я себе думаю. Я знаю: то, что я думаю, не имеет вообще никакого значения, — и мне хочется, чтобы у меня опять были чувства. Но в нашем мире это так страшно — чувствовать. Когда я уйду от доктора, моя походка — какая-то странная, неестественная. Так что мне волей-неволей приходится осознать, что мне все-таки сделали операцию.

Снова на мотоцикле

дни — сплошные деревья; деревья, деревья — и вот я уже вообще ничего не вижу.

вторая ночь в этом маленьком городке, теперь город как будто ожил.

в центре этого городка — озерцо с черной стоячей водой. здесь живут птицы — не люди.

белая дикая утка глядит в одну сторону; черная — в другую. пятнистая птица движется мимо двух первых, которые замерли неподвижно. По зеленой лужайке проходит какой-то подросток, бритый налысо.

Я уже ничего не вижу. Женщина в розовой маечке на бретельках и в розовых шортах, толстая и симпатичная, говорит, что здесь хорошо, ей здесь нравится, а ее сыновья кричат, что они

поклоняются мотоциклам, как божеству, а в том городе, где родился ее муж, и где они жили раньше, в Бейкерфильде... так вот, это, наверное, самое жаркое место на свете.

как будто все уже кончилось, и ничего больше не существует. Мать моей матери, которая до сих пор укладывает свои белые волосы с синеватым отливом в высокую прическу и выглядит в точности, как Джоан Кроуфорд, как будто Джоан Кроуфорд еще жива, говорит:

— Это ночи печали и страха.

Первый этап ухода — потеря способности видеть.

Что я сказала Креону:

Я согласна с твоим приговором: отправить меня в тюрьму, на смерть. Я ухожу добровольно. Я покидаю ваш мир. В тишине, в темноте, в одиночестве.

В гулких пещерах, где северный ветер, я — дитя, кричу в полный голос; мчусь с табуном лошадей по крутым горным склонам такая же дикая и свободная, как они.

Я вижу во сне:

### **Настройки ночи**

Мне повезло: в это время всеобщей бедности у меня есть работа. Сейчас я живу в Санта-Барбаре. Живу просто на пляже, потому что теперь у меня нет дома. В общем и целом все это похоже на Ньюпорт-Бич, когда там проходит джазовый фестиваль.

Тут много музыки, вот почему я собираюсь остаться на этих песках, хотя здесь негде спать.

Все мои драгоценности лежат в шкатулке. Шкатулка тоже моя. Но мои драгоценности — самые лучшие и красивые: все они сделаны из кусочков цветного и почти прозрачного стекла.

Сейчас на пляже из людей — только девчонки, которые занимаются сексом с другими девчонками. Я — не такая, как эти девчонки. Я, Антигона, теперь бездомная.

Иными словами, я живу *прямо на пляже* и в то же время — в доме моей любовницы, что стоит там же, на пляже.

Я живу временно.

Смотрю на людей, что внутри. В ее доме. Вижу, в таком порядке: (1) девочку-блондинку; она красивая, то есть мне нравится; (2) гея, специалиста по иглоукалыванию; (3) себя.

Проверяю все до единой кровати, что есть в этой комнате.

На одной кто-то лежит. Высокий парень. Иглотерапевт, которого я уже видела, только что сделал с ним это самое. Потом я вижу его лицо, все в крови... и его голова... нет! Я не буду на это смотреть — не могу.

Что-то здесь произошло, в этой спальне — до того, как я пришла, — что-то такое, о чем я, может быть, знала когда-то, но больше не знаю.

Может быть... слово «высокий» как-то связано со словом «гей». Мне уже нужно ложиться спать, я так думаю потому, что у этого парня, который по-моему гей, серебряные ресницы. Да, у него одно веко пропирсовано двумя серебряными иглками. У него изумительные глаза, очень красивые. И иголки на веке смотрятся очень красиво. И я тоже хочу такие же — хотя боюсь боли. Но я просто не знаю, что это больно.

Вопреки боли, я сама протыкаю себе веко иглой. Потому что так нужно. Кстати, боли почти не чувствуется.

Этот высокий, худенький мальчик оставил свои серебряные ресницы у меня в руке, так что можно попробовать еще раз.

На этот раз я втыкаю себе в верхнее веко много-много серебряных иглок — у самого краешка глаза. Потому что теперь нужно так. Я заранее знала, что смогу это сделать, и поэтому сделала. Мне не хочется отдавать их назад, эти серебряные ресницы, но я знаю, что надо отдать. И эти ресницы, и мою шкатулку с драгоценностями — отдать этому мальчику.

Наверное, уже очень поздно, и давно пора спать, потому что теперь я — в спальне. Там столько кроватей, что это, скорей, дортуар. Я лежу на своей кровати. Подходит девочка, очень красивая, и забирается на меня. Я чувствую вес ее тела, и это приятное ощущение. Мне, вообще, хорошо и приятно, когда мы тремса пизденками, хотя настоящее возбуждение приходит очень не скоро.

Она шепчет мне на ухо:

— Трахни меня.

Конечно, я ее трахну.

поняла, что была на вершине мира, потому что теперь я падаю: вниз, по спирали, и падение кажется бесконечным. Мили и мили витков в пространстве, и вот вокруг уже нет ничего, кроме этих витков. Мир яви — такой же, как мир сновидений, так что теперь мне без надобности видеть сны. Я уже ничего не вижу. Падаю вниз, и вершина мира опускается вместе со мной; падаю, но ничего не боюсь, потому что вершина горы никогда не обрушится. Никогда.

Помню, я видела одну вывеску. «Сияние». Пути назад уже нет.

Падаю — на самое дно. Перехожу через бурлящую воду. По мосту из металла.

На той стороне попадаю в «нигде» и только теперь понимаю, что мое путешествие началось.

Ночь сделана из желе желтого цвета. Сегодня концерт Диаманды Галас. Да, я ее знаю, говорю я девчонкам, которые младше меня.

Город, где я сейчас, стоит на склоне холма; кое-где узкие улочки вырываются за черту городка и бегут, извиваясь, к вершине; очень похоже на Камбрию, только здесь все — темнее, теснее.

Все мы, девчонки, стоим снаружи, на улице. Прямо передо мной — ДГ, вот только она почему-то похожа на Дина из Чикагского художественного института. Кудрявые волосы, грязновато блондинистые. Но... люди меняются.

Зато в рок-команде ДГ есть одна девушка, Ава. Вот у нее волосы черные, как у настоящей Диаманды. Только кудрявые. И еще там у них есть несколько парней, сколько именно, я не знаю — потому что я на них не смотрю.

Кто-то, кого я не знаю или не узнаю, — передает мне тарелку с желтым желе.

Я встречаюсь почти со всеми парнями из рок-н-рольной команды ДГ. Единственный парень, с которым не встречаюсь — полный дебил. Он дебил, потому что он ссыт на все, что не движется. Может быть, так проявляется его страх перед всем, что движется. Хотя я, конечно, не психиатр.

Я сижу в баре с этими парнями; все, вроде, нормально, и тут этот придурок достает свою штуку и ссыт. На глазах у всех. Нет, я не стану встречаться с таким идиотом. Никогда. Но... но, но, но. Тут уж — как повернется. У нас что-то вроде бы завертелось с одним из этих рокеров, но... не вышло. Сейчас я нацелилась на второго

рокера; но не знаю, нравлюсь я ему или нет. Если нет... тогда остается только этот дебил.

Наверное, я нравлюсь второму рокеру, потому что он обнимает меня и прижимает к себе. А больше мне в этом городе ничего и не нужно. Он тянет меня за собой. Вниз, на пол. Пол деревянный. Мы не то чтобы в самом центре, но все равно все на нас смотрят, все в этом тайном, подземном баре. Он забирается на меня. Похоже, он собирается меня трахнуть. А я не хочу. То есть, может быть, и хочу, но не когда все смотрят. Ненавижу, когда на меня все смотрят. Так что, пошел бы он на хуй! Теперь мне больше никто не нужен. Никто из мужиков.

Я выхожу из бара.

Смерть — это еще один бар, расположенный чуть ниже нормального мира. Ниже буквально на пару ступенек. Я стою на пороге, но внутрь пока не вхожу. Двери там нет — просто дверной проем.

С порога, где я стою, мне видно немного. В таком порядке:

(1) Впереди и чуть слева: какой-то парень, сидит на деревянном стуле; лицо — все мокрое, в дрожащих капельках влаги.

(2) Впереди и чуть ниже: капли, срывающиеся на потертый ковер, образуют фигуру: концентрические круги, но не полные, а разомкнутые на четверть, из капелек или «зернышек».

(3) Впереди и чуть справа: стоит тот самый дебил. Без штанов. То есть, в штанах; только спущенных до колен. А вместо члена — какой-то коричневый сморщенный пудинг или плюха из грязи в узор из концентрических кругов. Из центра этой фигуры торчит тонкий кошачий хвук. Текстура этого пудинга наводит на мысли о слоновьей коже.

(3) объясняет (1) и (2): дебил только что обоссал парня на стуле.

Кажется, с меня хватит. Я ухожу. Теперь я снаружи, хотя должна была быть внутри. В этом баре.

Из-за этих дождей из мочи я болтаюсь с Диамандой дольше, чем с кем бы то ни было в моей жизни. Вот, в точности, как все было, когда мы вышли наружу, на улицу:

— А ты бы хотела переспать с Д? — спрашивает одна девочка, из ее настоящих подруг.

Вопрос резонный, потому что я вдруг понимаю, что мне нужно с кем-нибудь переспать — я ни с кем не спала уже целую вечность.

Я, Антигона.

Но я не хочу этого знать.

— Конечно, — говорю я. Слова вырываются сами, и я понимаю, что весь мир безумно влюблен в Диаманду. И как только я это осознаю, на улицу выходит сама Диаманда, как будто улица теперь стала сценой. Именно так я ее и вижу: застывшей в дверном проеме в чистом и белом бетонном здании.

Певица сплетничает про Каву, ту девушку с черными волосами. Эта Кава — она вообще не из команды Диаманды. Кава лишь выступает на «разогреве». На самом деле, признается мне Диаманда, Кава ей жутко не нравится.

История Кавы: она всегда была рокером и только рокером; в свое время она была как-то связана с «Rolling Stones».

Теперь я знаю, что Диаманду влечет к ней, к Каве.

Пора выбираться отсюда. Наверное, поэтому я и иду в магазин за покупками. В этот пафосный бутик для яппи.

Бутик небольшой: всего-то четыре стойки с одеждой. Мир исчезает: стоит мне отвернуться от стойки, а потом повернуться обратно — там уже нет никакой одежды. Скоро мне нечего будет носить.

Теперь из одежды в мире остались только синелевые свитера необъятных размеров: они аккуратно сложены на четырех полках у дальней стены. Цвета только осенние: густо оранжевый, коричневый — безо всяких оттенков, бледно голубой. Я ненавижу любые цвета, кроме черного и красного, только это уже не цвета. Но я знаю: мне все равно нужно что-то купить. Из того, что здесь есть. Только я ничего не куплю. Я, Антигона.

Я не хочу.

Я не буду.

Лучше я стану \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ — невозможно, неосуществимо.

Я стану девчонкой-пиратом.

Мчусь сквозь пространство.

Земля на северной стороне этой огромной воды сглаживается холмами. Сначала — зелеными. Потом — красно-коричнево-желтыми. Чем дальше, тем желтого больше. Но зато меньше листья.

Остались только земля и небо. Людей больше нет. И нет указателей с географическими названиями: здесь уже нечего называть.

После людей идет бензин. «Это последняя автозаправка на ближайшие 80 миль». Помню, я ехала по Восточной Германии. Когда еще была Восточная Германия. По какому-то глухому проселку. Далеко от автобана. Я ехала на чужом мотоцикле, и у меня закончился бензин.

Наконец, рядом остановился мотоциклист, из местных.

Я похлопала ладонью по баку:

— Бензин.

— Здесь нет бензина, — ответил парень.

Автозаправочных станций не стало.

Коричневый, красный и желтый изгибаются дугой и идут под уклон — вниз, в коричнево-желтый. Больше нет разницы между подъемом и спуском. Синева простирается параллельно горизонту.

Чем ровнее становится местность, чем больше мне видно земли и неба. Все, что осталось во мне моего, все, что во мне существует отдельно от неба, земли и воды, превратилось в сплошное зрительное восприятие. Теперь мне больше не снятся сны; по ночам я почти не сплю. Мне уже никогда не вернуться домой, потому что мне не к кому возвращаться.

Я не потерялась. Мое зрительное восприятие становится шире, и выше, и глубже...

... колонки с бензином стоят на гравии, смешанном с грязью... в этом оазисе, где есть люди... мальчик-байкер и его подруга стоят, привалившись к стене, воткнутой в нижнюю горизонтальную плоскость... в ресторане мужчины с лицами стариков сидят, согнувшись над гамбургерами с жареной картошкой, лужи красного соуса, зеленые листья салата... из женщин — только официантки, кроме той девочки у стены, но она — снаружи...

Человечность снова уходит...

Прощай...

Я не потерялась и не нашлась. Я просто смотрю и вижу.

Начинается зелень.

Как будто зелень уже не имеет значения, это скопление буйной растительности — город по имени Вала-Валла, и на внешней

границе этой безудержной зелени, когда я обгоняю машину, что съезжает к обочине, коп в синих зеркальных очках обвиняет меня в нарушении закона и бросает меня в тюрьму.

Помните эту историю про дочь Кефея? На самом деле, история очень грустная. Я пишу у себя в камере. Она была незамужней, а значит — изгоем. Всегда — в опасности. Сколько она пролила горьких слез. Горючие слезы текли в три ручья из обеих ее ртов. Она была счастлива, пока папа не попытался ее убить. До покушения на смертоубийство она жила с папой в замке, в этом собрании башенок и переходов, где каждое сооружение отличалось от всех остальных, где повсюду — вверху и внизу, — была зелень, и где с ней случилось столько всего интересного и удивительного.

Точно как я.

И точно так же, как мне, ей не хотелось покидать свой дом.

Она просто пошла на одну вечеринку...

И как только она добралась до места, она вдруг поняла, что не знает, где она теперь...

В огромной, отделанной деревом комнате, слишком большой для бара, хотя это был именно бар... сидело лишь три человека. Две девчонки и парень. Блондин. И хотя парень был весь из себя привлекательный, он все равно возбудился и стал ее домогаться. Но лишь потому, подумала она про себя, что я известная поэтесса, хотя я еще совсем ребенок.

Мальчик и Андромеда, оба опьянели. И в этом пьяном дурмане, заполнившем все вокруг, он исчез.

Там было лишь три человека — в комнате, похожей на бар. Мальчик со светло-каштановыми волосами и две девочки. Он не сводил с нее глаз. И Андромеда понимала его вожделение. Ей с самого начала не верилось, что белокурый красавчик хотел ее понастоящему. Трое детишек куда-то пропали, чтобы они могли спокойно заняться сексом.

Андромеда осталась одна со своим бокалом.

Когда она открыла глаза, мальчик-блондин обнимал ее, и она знала, что нравится ему вся, — ему нравится все ее тело, каждый участок ее кожи, и не важно, какой участок, и где, потому что он тыкал своим возбужденным членом ей в живот, прямо через одежду, что отделяла их друг от друга, но она все равно не верила, что он ее хочет.

Как только она начала ему доверять, в ней тоже проснулась желание.

Теперь она тоже хотела его.

Она опьянела от этих чувств; и в этом пьяном дурмане мальчик исчез.

Она осталась одна, а гости, еще совсем дети, потихонечку собирались на вечеринку. Похоже, народу придет немало: а значит ей, Андромеде, будет совсем одиноко.

Ей надо было уйти, потому что ничто в этой комнате — все, что там было, и все, что там будет, — не спасет ее от одиночества. Наоборот.

Но Андромеда уже не могла уйти, потому что она забыла, где ее дом. Как-никак, отец собирался ее убить. Она не записала адрес. Она не знала, как зовут хозяина замка. Она не знала, кто он... какой-то архиепископ... что-то вроде того.

Если бы только было, с кем поговорить. Если бы рядом был кто-то, кто сумел бы ее понять. Может быть, кто-то из взрослых.

Она заговорила с каким-то мужчиной, которого видела первый раз в жизни. Она объяснила ему, что хочет вернуться домой, в замок — но не знает, где он.

Он понял, что она жила где-то на юге. Она увидела карту у себя в глазах. Дом был внизу.

— ... и чуть на восток. — Чуть на восток — значит, чуть влево. — Неподалеку от Кельна.

— Дотуда можно добраться пешком?

— Ну... — Его «ну» было насквозь пронизано сомнением. — Я вызову тебе такси.

Она не знала, что так можно сделать.

Как будто фраза: «Я вызову тебе такси», — была ключом, что открыл дверь наружу, или, быть может, потому, что народу собралось уже немало и всеобщее опьянение дошло до крайности, возникло большое и единое сообщество, Андромеда все же решилась. Она вышла из комнаты.

В отличие от меня, Андромеда родилась не от кровосмесительной связи. И ее настоящий отец не довел ее мать до самоубийства.

Ее настоящий отец — не приемный — пытался ее убить.

Она сбежала из дома и вспомнила, что отец пытался ее убить, потому что «сбежать» значит «вспомнить». «Сбежать из дома»

значит «измучиться от тоски по дому, куда уже невозможно вернуться».

Красивая девочка вышла из комнаты и оказалась в глубоком снегу. Ночь была тихой и очень спокойной. Белый снег был такого же цвета, что и черное небо. Ей по-прежнему очень хотелось быть с тем мальчишкой-блондином, которого звали Персей, хотя она это и не знала. Она хотела его — до боли. Но его не было видно. Нигде. Было видно лишь то, что снаружи. Снег. словно снег — чернота. Она видела пары: гетеросексуальные пары, как в университете. Они проходили по узкой тропинке, к входу в это большое здание. Тропинка делила пространство на две половинки, две плоскости нетронутого снега. Здание было из красного кирпича.

Из обрывков их разговоров, она поняла, что эти мальчишки, эти девочки идут на собрание Общества молодых консерваторов.

И еще она поняла, что уже не сможет вернуться на вечеринку. В тот бар.

Красивая девочка сдвинулась с места. Эти обрывки чужих разговоров придали ей сил, и она побрела домой, обратно — туда, куда указал мужчина, — по белой тропке, затоптанной бурой грязью и местами заваленной снегом. Она не знала, точно ли идет, куда нужно, и уверяла себя:

— Я не заблужусь, если буду держаться левой стороны.

Как и я, эта девочка согласилась пойти в тюрьму, как и я, она согласилась умереть по приказу отца, потому что больше всего на свете ей хотелось вырваться из этого общества, где всем заправлял ее папа.

Что я сказала Креону: Креон, я покинула твой вшивый мир. И теперь только дурак попытается остановить нас, девчонок. Заткнуть нашу иступленную песню. Смерть разума — это не чернота, это просто другой вид света.

Андромеда говорила со мной. Она сказала, что шла домой, обратно к своей настоящей постели между жизнью и смертью:

— Как я уже говорила, — сказала она, — я до сих пор изнывала по этому мальчику. Как будто желание — это мышцы, все мои мышцы скрутило судорогой. Я поняла: надо что-то делать. А потом вдруг оказалось, что я пришла к его дому.

Знаешь, я в жизни бы не подумала, что он живет в таком доме. Двухэтажный деревянный дом в городском предместье, грязный и безобразный, втиснутый между двумя другими, такими же уродливыми домами.

И там, в доме, не были ни души. То есть, мне так показалось. А снег все валил и валил.

Мне было холодно, я устала — я проделала долгий путь, — так что я вошла в дом. Дверь была не заперта. Все-таки мне не пришлось стучаться. Я очутилась в его спальне.

Абсолютно пустая комната. Никого. Ничего. Даже мебели нет.

Соседняя комната, хоть и смежная, относилась уже к другому дому. Я заглянула в приоткрытую дверь, что разделяла эти две комнаты, и увидела пару. Мужчину и женщину.

— Две секунды, — крикнул мне мальчик, который, похоже, был пьян. — Сейчас я к тебе вернусь.

Он, наверное, подумал, что я пришла вызвать его на работу.

И я бросилась к выходу. Пока он не понял, кто я на самом деле: незваная гостья, что без спросу вломилась в дом.

Я вышла из спальни своего бойфренда и еще раз мысленно повторила то же самое, что подумала, когда заглянула в дверь между двумя домами: «Мне лучше уйти. Пока он не вернулся. Пока он не понял, что я вломилась к нему в дом, как какая-нибудь преступница».

Чтобы не сбиться с пути, Андромеда держалась все той же тропинки, затоптанной грязью. Снег накрыл землю. Небо вновь сделалось черным.

Стало кое-что видно: дома. Они стояли теснее друг к другу. Она уже не различала, где грязь, где асфальт. Где еще пригород — а где уже город. Она поняла, что вышла к какому-то деревенскому скверу.

Она продолжала идти по тропинке по краю сквера и, конечно же, видела только то, что слева. Ресторан, который был больше снаружи, чем внутри. Черный, по форме скверика. Круглые столики под большими зонтами; растения в горшках. За двумя-тремя столиками кто-то сидел. Она различила фигуры. Ей показалось, что это люди.

А я уже не человек, я снаружи.

И вот тогда Андромеда и поняла, что ей нужна помощь. Что по всем общественным стандартам она была настоящим уродом:

истеричной, никчемной, безумной, припадочной извращенкой, изгоем и нимфоманкой, паршивой овцой и к тому же — девственницей. Она даже не знала, куда идет. Она уже ничего не знала.

Иными словами, ей нужен был кто-то, кто помог бы ей вернуться домой — в то место, которого больше нет.

Она подумала: вряд ли кто-то из тех, кто сидит в ресторане, захочет общаться с такой дрянью, как я — не говоря уж о том, чтобы мне помочь. Потому что это шикарный и дорогой ресторан. Но через улицу есть кафе. На той стороне, которую я прежде не видела: не могла видеть. Подхожу и заглядываю в окно. Это наполовину — кафе, наполовину — мясная лавка. Если здесь есть «мои» люди, то они — только там.

Наверное, она рассудила правильно. Потому что, когда Андромеда вошла в кафе, обстановка внутри не противоречила ее первому впечатлению. Все, что девочка частично увидела с улицы, а частично додумала — подтвердилось. Здесь было много забавных и интересных вещичек и мертвое мясо, а хозяева лавки, пожилые мужчина и женщина, крупные, грубоватые и неряшливые, отнеслись к ней по-доброму. Они знали, где ее дом, хотя сама Андромеда уже ничего не помнила. Ничего.

— Мы вызовем тебе такси.

За время, прошедшее между звонком в таксопарк и прибытием такси, которое может вообще не приехать:

Андромеда вдруг оказалась совсем в другом месте. В какой-то огромной комнате, похожей то ли на пустынную церковь при монастыре, то ли на пещеру в скале.

Она выглянула в окно и увидела другое окно, точно такое же. Или, может быть, это было то же самое окно. И там, за окном, был монастырь. Точно такой же, как этот. Или, может быть, тот же самый.

Здесь, внутри, все было каким-то уж слишком большим: и люди, и вещи — все такое огромное. Двое мальчишек, похожих на древнегреческих богов, или двое богов, которые были мальчишками, вышли наружу через дальнее окно — или подобие окна, — и встали на деревянной приступочке, что соединяла оба окна. А потом прошли через то окно, у которого стояла она, Андромеда. Прошли прямо к ней. Она видела!

Похоже, здесь будет какой-то спектакль. Здесь, в монастыре. Спектакль или перформанс: большие предметы были расставлены — видно, что бережно, и аккуратно, и на строго рассчитанных местах, — по всему внутреннему пространству, что простиралось почти в неоглядную даль и смыкалось с пространством в общем. Как будто рождался новый язык: язык предметов. Андромеде это напомнило ранние клипы R.E.M.

Она запрокинула голову. С потолка, точно по центру комнаты, свисала веревка, а на веревке болталась летучая мышь. Раскачиваясь, как маятник.

— Вот чудеса! — выдохнула она, глядя на этих двоих, которые, может быть, ей и помогут. И, может быть, даже уже помогают вернуться домой.

Вот так и сижу в этой паршивой тюрьме. Уже месяц, бя. Хотя, может быть, я здесь не просто так, потому что эта дрянная девчонка, мерзкая и сволочная, только что передала мне письмо, чтобы я отнесла его одному человеку.

Может, мы с ней потому и сдружились, что она очень плохая. А плохая она потому, что злая. Когда она злится по-настоящему, она говорит мне, что ее в жизни не выпустят из тюрьмы — власти этого не допустят.

Меня все-таки выпустили из тюрьмы. У них просто не было оснований держать меня в заключении, как бы им этого ни хотелось: я не сделала ничего противозаконного, только превысила скорость, причем тоже — не противозаконно. Меня засадили в тюрьму лишь потому, что я девочка. Я где-то читала, что в некоторых странах молоденьких девочек держат в тюрьме, пока они не выходят замуж. Но теперь я на воле, и мне что-то не хочется возвращаться обратно в тюрьму — к протухшей колбасе на куске черствого хлеба, к этим девчонкам, в которых расизм врезан на уровне подсознания, так что в тюрьме они бьют других девочек смертным боем, а потом, на свободе, считаются нормальными членами общества. Я ничего не забыла. Я помню. Нормальные люди, нормальное общество. С меня хватит. Я никогда не вернусь в этот город, где одни Адвентисты Седьмого Дня; к этим копам, что прячут глаза за зеркальными синими стеклами темных очков; к этим людям, которых священники

научили везде видеть бесов, а отцы — травить тех, кто на них не похож; я никогда не вернусь в этот мир, где все, что ты делаешь, объявляется противозаконным. Я больше не чувствую себя защищенной. Мир стал опасным, и всегда был опасным, потому что я никогда не умела быть мертвой при жизни.

У меня есть паспорт, который мне добыла та дрянная девчонка, чтобы я смогла выехать в Англию и доставить письмо в Бристоль. Она объяснила все очень подробно: где этот город, и как туда добираться.

В тюрьме нам не давали читать газеты, потому что, как нам говорили, мы девочки. В этой газете написано, что на выборах на прошлой неделе почти везде победили республиканцы, так что религиозный порядок теперь у власти. Гингрич, Хелмс и все Адвентисты Седьмого Дня. Вместо того чтобы и дальше читать газету, я читаю письмо, которое мне поручили доставить.

*«(Самой вонючей и гадкой из всех девчонок)*

*Гостиница «Старый якорь»*

*Бристоль, Англия*

*19/03/94*

*Дорогая моя,*

*Дорогой мой Король,*

*Хотя я сижу в этой вшивой тюрьме, я завершила все необходимые приготовления.*

*Корабль куплен и снаряжен. Стоит на якоре в Бристолле, готовый выйти в море. Лучшей шхуны и представить себе ничего невозможно. Управлять ею может и младенец...*

*Возвращайся в Брайтон. И в пизду твою хворую кошечку. Сука. Бросай все и немедленно выезжай в Брайтон, пока никто из девчонок не пронюхал, что происходит. Что мы отплываем на остров. Где спрятаны наши сокровища.*

*Уже скоро я выйду из этой вонючей американской тюрьги».*

Я вдруг понимаю, что мне интересно, действительно интересно — и чем дальше читаю, тем все интереснее и интереснее. Теперь я знаю, почему я оказалась в тюрьме. И если прочесть, что там дальше...

... и я читаю:

*«Прилагаю копию карты, где обозначен наш остров сокровищ. Обрати внимание: по своим очертаниям остров, куда мы плывем, похож на тело мертвой женщины. (Не будь она мертвой, она не смогла бы стать картой.)*

*К несчастью, на этой карте не обозначено точное место на женском теле, где зарыт клад.*

*Но я уверена, что где-то есть и такая карта».*

Мечты о море — или это мечты о сексе — захлестывают мне сердце. И еще: предвкушение дней и ночей, насквозь пронизанных чудесами. Грезы о времени запредельных чудес. Я уже уплываю — а «плыть» значит «лететь», — покачиваясь на волнах. В царстве безбрежной воды, от острова к острову.

То, что было в конце письма, добивает меня окончательно, и я принимаю решение. Верная своему обещанию — я дала слово дрянной девчонке, — я доставляю письмо, куда нужно, а потом я останусь с тем человеком, кому адресовано это письмо.

*«Сейчас я в тюрьме, Киска. Я уже и не помню, как я здесь очутилась. Но теперь это не важно. Зависнуть в каком-нибудь одном месте — значит высагиться на землю. А хорошей земли не бывает. Сейчас я здесь, а ты там, так что делами займешься ты.*

*А теперь слушай, Киса. Вот что тебе нужно сделать: поезжай в Брайтон — замечательный город для гадких девчонок, — и собери там команду из самых мерзких и злобных девчонок, которых сумеешь найти и нанять. И готовьтесь к отплытию. На остров, который на карте, мы пойдем на гребной шлюпке, потому что это единственный способ ускользнуть от властей.*

*Я буду в Брайтоне еще до отплытия. Собственно, это главное, что я хотела сказать тебе в этом письме: ты только не зарывайся. Смотри, чтобы власть не ударила тебе в голову. Потому что твоя власть — это всегда моя власть. Да, ты король, но ты не король над всем миром. И даже — над остальными девчонками, такими же жадными, ненасытными*

и мечтательными, как ты. Имей в виду, Киса, я тебя знаю. Ты такая же мерзкая, как и я: у тебя острый, как бритва, язык и поганый характер. Самые лучшие качества для девчонки. Но ты все же имей в виду: еще никто не сумел меня одолеть. Никто. Даже женщина. Если ты попытаешься захватить мою власть, я тебе просто башку оторву, так и знай. Хотя жалко, конечно... Ты ведь у нас симпатичная. Только я все равно симпатичнее; и волосы у меня на пизде всяко лучше твоих.

Твоя навеки,

*P.S.* Можешь полностью доверять девчонке, которая принесла письмо; потому что мы с ней подружились в аду, так что смерть никогда нас не разлучит.



Только теперь я узнала, как ее зовут: *Сильвер*.

... и я поехала в Бристоль, и встретила с Киской, которая нянчилась со своей больной кошкой. Я отдала ей письмо, которое обещала доставить по назначению.

Киска взяла свою кошку и вернулась к себе в убежище. Уже в Брайтоне мы нашли Морган, Кошечку, Дрянную Собаку, а потом еще — Черного Монаха, МД, Золотистую Деву, Остракизм и других. Мы сделали все, как нам было сказано...

...потому что Брайтон — дно мира...

## Начало поэзии: Происхождение пиратства

— Хочу снова быть женщиной.

— И что это значит? — спросила я у Дрянной Собаки, с которой мы говорили уже не один час. Вернее, говорила все время она. Все говорила и говорила, наливаясь пивом.

— Псы и убийцы.

В пабе «Плешивая черепушка».

— Разве мы знаем, кто мы такие? Разве мы не должны вернуться к своему прошлому? *Где вы, пираты прежних дней?*

Дрянная Собака обернулась к остальным девчонкам, которые были пьянее бездомных бродяг, что набились в тот вечер в паб, и к кошкам, что ели рыбу, и к дохлой рыбе. Они развалились повсюду: и девчонки, и кошки, и рыба. Дрянная Собака изливала свое красноречие, может быть, потому что уже не могла излить ничего другого — в ней все давно пересохло.

— Где те пираты, которые все настоящие мужики? Где?

— Гниют у нас под ногами, — пробормотала острячка по имени Морган, которой отрезали ноги в одной пьяной драке. — И не все они были настоящими мужиками, да и вообще мужиками.

— Где гниют эти самцы, эти ражие ебари, которые не успокоились до сих пор, хотя и сдохли давным-давно, и вонь от них распространяется по всему миру, отсюда до самых Китайских морей, где произрастает слоновая кость; отсюда — в гниющую вечность; где эти разносчики тошноты, эти рассадники заразы, как будто они ничего не умели по жизни, кроме так спиздить все самое пагубное и злое, что было в ящичке Пандоры? Где эти закоренелые рукоблуды, которые каждый день выжимали себя до последней капли, погружаясь в эротические фантазии, порожденные страхом и наслаждением, которые не знали границ ни во времени, ни в пространстве?

— Девчонки, мы тоже *солдаты удачи*, и это первый раз, здесь в Брайтоне, когда мы называем себя удачливыми, может быть, потому, что мы говорим сейчас о своем прошлом, и знаем, что мы происходим из древнего, славного рода. Из рода смерти. Потому что одно из значений слова «род; родословная» — это «смерть». — Эта вонючая псина осмотрелась вокруг. Как обычно, ее боевые подружки уже напились до бесчувствия и валялись теперь в пьяном ступоре в позах, типичных для мертвых девочек. — Они все издохли.

И она закончила:

— Дохлые мужики не кусаются.

Дрянная Собака знала, о чем говорит.

Когда эта девчонка закончила свою речь, она ушла. Ушла искать свою мать. Когда-то английские короли привозили в Брайтон свои любовниц и молоденьких мальчиков — на романтические уикенды. Сюда, в мертвый город.

Девочка искала маму и, пока искала, пела такую песенку:

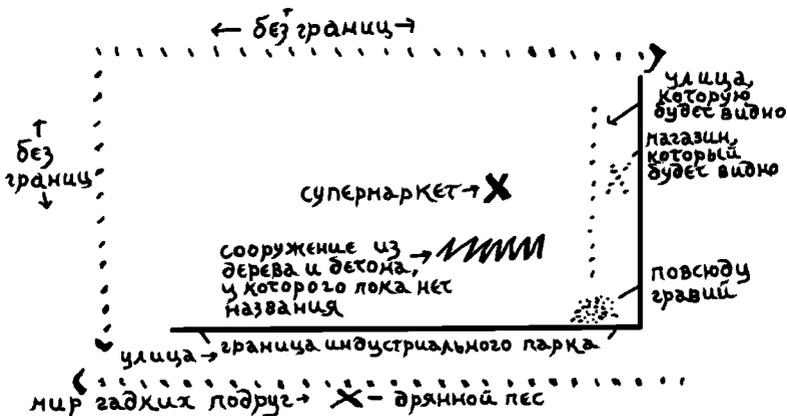
Я ищу свою мамочку,  
Которую я никогда и не знала.  
И мне ее никогда не найти,  
У меня тоже есть маточка,  
Как у мамочки.

Она знала, что мама пошла в магазин за покупками — потому что мама жила в том мире, откуда сбежала она сама.

За покупками мама всегда ходила в бакалею: Значит, мама была в супермаркете.

— Не ходи *туда*, — предупреждали Дрянную Собаку ее подружки-любовницы.

— Но мне нужно пойти... — На этот раз она не послушалась своих гадких подруг, потому что ей вдруг очень четко представилась вот такая карта:



Дрянная Собака перешла через улицу.

В бакалейном отделе — гигантском зале, разделенном проходами между длинными стеллажами с овощами, консервами и даже мясом, — продавали только здоровую пищу. Ничего другого Дрянная Собака не ела. Магазин уже закрывался, потому что ночь приближалась к земле.

Мокрая грязь хлюпала под ногами — как будто пол был снаружи, — а на полках почти не осталось еды.

Даже Дрянная Собака признала, что пора уходить. Потому что матери здесь нет. Правда, сперва ей хотелось купить каких-нибудь овощей, но теперь ей хотелось лишь одного: поскорее уйти из этого магазина, где должна была быть ее мама, только почему-то ее не было.

Она перешла через улицу, которой не было на карте, и вошла в магазин, которого тоже не было видно на карте, потому что снаружи он был невидимым. Она шла в направлении на восток. Там внутри, в магазине, все стало видимым — всякие штуки, которые можно было купить. Съедобные и несъедобные. Дрянной Собаке захотелось чего-нибудь прикупить. И она даже могла себе это позволить... то есть, если не скупить весь магазин... но она была жадной псиной, вечно голодной и ненасытной, псиной, готовой сожрать всех и вся, ам-ам-ам.

— Но мне нужна сумка, чтоб унести все покупки, ам-ам-ам, — сказала себе Дрянная Собака, которая была очень даже разумной псиной. — А вот, очень даже пристойная сумка, мексиканская, из черной шерсти. Вон там, на полке. Ам-ам-ам. Хочу, хочу, хочу. — Дрянная Собака выкопала все покупки, зарытые глубоко у нее внутри. — Так, песик мой, успокойся! У тебя нету денег на эту сумку. Ты же нищая собачонка, дворняжка. Можешь пока походить с этой сумкой по магазину. Но потом ты положишь ее на место. Да, положишь на место.

Поскольку денег у Дрянной Собаки хватило бы только на что-то одно — на то, что ей хочется больше всего, — она стала искать и думать, чего же ей хочется больше всего. И как только она это увидела, она сразу сказала себе: вот оно.

— Я возьму черепаху, вот эту.

Черепаша была еще жива лишь потому, что ее держали в банке с водой.

Дрянная Собака пела своей черепахе после того, как купила ее:

Когда больше нет здравомыслия  
подключается воображение  
и разум строит  
свой мир, свое царство.

Зимородки больше не будут охотиться на рыбешек,  
ядовитые листья станут нам пищей  
все моряки потеряют последнюю совесть,  
потому что теперь у нас губы в кровище.

Там, в магазине, Дрянная Собака прилегла на кровать. Эта комната была крышей того самого магазина, где Дрянная Собака купила черепаху. Она посмотрела на потолок и увидела, что ее черепаха выстрелила языком вверх.

Вот как это было: черепаший язык протянулся через всю комнату, и добыча прилипла к какому-то белому диску на кончике языка, причем этот диск был похож не на слизистую мембрану, а на кусочек замазки.

— Круто, — сказала Дрянная Собака. — Похоже, я не прогадала с покупкой.

Телевизор, стоявший в комнате, вдруг включился. Сам по себе. Экран был чуть больше, чем у обычного телевизора. Так что, наверное, это был не простой телевизор, а видео.

Кажется, там шла реклама. В этой рекламе черепаха была, словно белая лошадь, только какая-то странная лошадь. Потом пошел другой ролик: мужчина в измятом белом костюме — в таких костюмах богатые мужики обычно ездят на тропические сафари в приключенческих фильмах, — говорил, обращаясь к зрителям. Говорил что-то о загрязнении окружающей среды. К концу сюжета чисто выбритое лицо мужчины заросло щетиной; ослепительно белый костюм весь испачкался: подобная перемена явно указывала на то, что говорящий подался в революционеры. Такой поворот событий пришелся по вкусу Дрянной Собаке! Этот парень на экране больше нравился ей таким: небритым возмутителем спокойствия в изгвазданном белом — когда-то — костюме.

Терроризм защитников окружающей среды захлестнул экран. Мир полыхал в огне. Разбушевавшиеся стихии выплеснулись за пределы экрана. Существо, похожее на белую лошадь, только какую-то странную лошадь, вышло из телевизора прямо в комнату, где была Дрянная Собака.

Она задумалась, что может быть более странным, чем лошадь, потому что все именно так и бывает, когда влюбляешься. Дрянная Собака полюбила эту белую лошадь сразу и навсегда и знала, о чем та думает: лошадь хотела выйти наружу, чтобы пожрать. Она была голодной, как и сама Дрянная Собака. Может быть, еще голоднее.

Дрянная Собака подумала: что мне предпринять? Я знаю: лошадь хочет сбежать, галопом, по ступеням, что обрываются с края террасы — прочь из комнаты. Мне надо было подумать об этом раньше. Но я дрянная собака, плохая. Когда я покупала себе черепаху, надо было купить и овса, потому что лошади кушают овес. И что мне теперь делать? Выпустить лошадь наружу? Нет, не лошадь — коня. Выпустить его наружу? Там, снаружи, опасно, и коня некому будет защитить. Но, может быть, здесь, взаперти, ему еще хуже? Может, не надо его удерживать?

Несмотря на дурные предчувствия, Дрянная Собака все-таки выпустила коня.

Она вернулась к нам и сказала, что теперь она знает, откуда взялись пираты.

## **Рассказ Дрянной Собаки**

«Пираты возникли в тот момент, когда животные стали священными».

«Мы, которые рождены: Имя нашего Бога, Повелителя Рождений, сотворившего всякое существо и все сущее, Владыки Потомства — Параджапати.

До того, как возникло рождение, был только хаос, жестокость и дикость. И был еще бог, тоже дикий, за пределами жизни и смерти, он был еще до появления Владыки Потомства, еще до появления любого потомства, до первого утра мира.

Дикий Бог, этот пират, воспламенил все вокруг себя.

Умирать всегда страшно, но еще страшнее — жить в страхе, и Владыка Потомства, испуганный, умоляет Дикого Бога не сжигать

его вместе со всем остальным. «Оставь мне жизнь, — молит он, — и я сделаю все, что ты хочешь».

И Дикий Бог отвечает, что в мире по-прежнему будет рождение и смерть, мир по-прежнему будет миром, только если Владыка потомства назначит его Господином над всеми зверями, имя которому Пашупати».

— Вот так появились пираты, — сказала Дрянная Собака.

### **Откуда произошли мальчишки**

С мальчишками-панками нас познакомила Король Киска. Когда она познакомилась с этими мальчишками, в ее первые дни на дне этого мира, она думала, что уже никогда не придется с кем-нибудь поговорить. Что она так навсегда и останется Киской, девочкой, что живет в собственных мыслях.

А они думали то же самое про себя. Что они прогнали насквозь. Вот так они и сошлись, Киска и мальчишки-панки.

В день, когда Киска нас познакомила, солнца не было вообще, так что сразу же наступил вечер, только мы ничего не видели, потому что сидели в «Плешивой черепушке», и она продолжила свой рассказ. Это было словно еще дальше отплыть в открытое море. Она сказала, что встретила их в ресторане.

Киска не делает разницы между явью и сном.

Тот ресторан, в отличие от всех остальных помещений в Брайтоне, был огромный. Как какая-нибудь художественная галерея в Нью-Йорке. И такой же пустой. Киска вошла в верхний зал ресторана, словно в воспоминание.

Она вошла в зал ресторана, и ей вдруг захотелось в туалет.

Туалет в том ресторане по сравнению с другими сортирами в брайтонских ресторанах тоже выглядел роскошно. Как и сам ресторан по сравнению с обычными ресторанами в Брайтоне. Разглядывая свое отражение в большом зеркале над тремя раковинами, Киска увидела у себя за спиной человека... мужчину... в черной коже... садо-мазо...

Он вторгся в пространство, которое в тот момент было ее пространством.

Киска не знала, пугаться ей или нет. Пока она думала, время как будто замедлилось. А потом и вовсе остановилось. И когда время остановилось, Киска стала кричать — звать людей, которые были снаружи. Тех, кто работал в этом ресторане. Только крика не получилось, потому что ей было страшно.

Не совсем понимая, почему ей не страшно теперь, она вышла из туалета.

Под рестораном располагался салон красоты, где продавались всякие милые безделушки. И там тусовались плохие мальчишки. Одетые в черную кожу.

Они собирались там чуть ли не каждый день, мальчишки-панки.

Встретив этих мальчишек, Киска увидела океан во всем его великолепии. В великолепии, которое есть бесконечность. Весь — сплошная поверхность. Бездонный. И из этой поверхности выби-вался сверкающий водопад. Как фонтан.

Киска опустила глаза и увидела у себя в руке ключ. Ключ, покрытый по бокам и сверху желтой пластмассой. От него исходило какое-то странное излучение.

— Это не то, к чему ты привыкла, — объяснил ей один из мальчишек, худой и опасный на вид. — Ты же всю жизнь прожила на улице, в нищете и жестокости.

Киска знала, что это правда. Она огляделась по сторонам.

— Наш салон красоты — это еще и галерея. Тут у нас тихо, но здесь много чего происходит.

Вот тогда Киска и поняла, что этих мальчиков стоит послушать.

В тот день, когда мы познакомились, они рассказали нам о своем происхождении. В христианском обществе, типа того, что сейчас потихонечку умирает, те, кто действительно верят в Христа, проявляют эту веру, подражая жизни Иисуса. Мальчишки-панки подражали Антонену Арто.

— А. Наш Убогий Бог, — сказали мальчишки-панки. В самом начале.

А., Убогий Господь, родился 4 сентября 1896 года, в Париже. Рядом с зоопарком.

Пока он был жив, и особенно под конец жизни, у него было мало друзей, и среди них почти не было молодых мальчиков. Хотя несколько малолетних преступников таскались за ним по пятам повсюду.

— Он был самым отчужденным из всех актеров-поэтов, — объявили, помимо прочего, эти романтические мальчишки, ковыряясь в носу. — Вот что писал о себе сам А., Наш Убогий Господь:

Этот мальчик  
его здесь нет  
его нет нигде  
потому что он только ракурс  
которому лишь предстоит возникнуть

Продолжая ковырять в носу, мальчишки-панки цитировали откровения своего убогого Бога:

этот мир христианского отца-матери, этот мир должен исчезнуть,  
этот мир расколотых-надвое или постоянных-союзов-стремящихся-к-полному-объединению,  
вокруг которого вертится вся система этого общества,  
этот мир отца-матери, злонамеренно поддерживаемый самой  
мрачной организацией.

— «ОРГАНИЗАЦИЯ — ЭТО НЕ ДЛЯ МЕНЯ!» — воскликнул Убогий Бог, подцепив пальцем кусочек собственных мозгов, как будто мозги — это черви, которые можно съесть:

— «Следует осознать, что всякая разумность — всего лишь условность и что можно ее потерять не как безумец, который мертв (что сейчас и происходит со мной), а как живущий, который, теряя рассудок, чувствует в то же самое время, как в него проникает разумность».

Убогий Бог сошел с ума либо еще до того, как к нему применили лечение электрошоком, может быть, потому, что он не знал меры в тяжелых наркотиках, либо после.

В первые дни своего пребывания в Родезе, в лечебнице, актер-поэт писал своему врачу, Фердьеру: «У Вас замечательный ум и большое сердце, и я знаю, что Вы добрались до самого дна сущностей и вещей и постигли Истину».

В 1938-ом, за пять лет до приюта Родез, итальянский врач Уго Керлетти посетил одну римскую скотобойню, где свиней убивали электрошоком. Керлетти заметил, что разряд электричества, бьющий в череп, подавляет в свиньях волю к жизни и вызывает желание умереть.



При проведении сеанса электрошоковой терапии пациентку привязывают к столу, чтобы не сломала себе руки-ноги во время конвульсий, которыми неизменно сопровождается данная процедура. Чтобы пациентка не прокусила себе язык и не сломала зубы, в рот ей вставляют специальную палочку.

По окончании процедуры пациентка впадает в кому, которая продолжается от 15 минут до получаса. Она приходит в себя, полностью или частично утратив память.

Доктора Фердьера привлекла безобидная простота этой целебной процедуры. С 23 мая по 10 июня 1944-го года он провел двенадцать сеансов электрошока с Нашим Убогим Богом; еще двенадцать сеансов — в августе 44-го; и еще дюжину — в декабре 44-го.

После одного из таких сеансов актер-поэт так долго не выходил из комы, что Ферди решил, что его пациент скончался, и отправил его — или только его тело — в морг. В морге Арти Убогий Господь очнулся.

Вернувшись к жизни, все еще там, в Родезе, Наш Убогий Господь написал другому врачу: «Это Вы в прошлом августе положили конец моему курсу лечения электрошоком, какое лечение сказывалась на мне самым кошмарным образом, потому что Вы поняли, что это не то лечение, какое мне нужно — что таких, как я, вообще не нужно лечить, а, наоборот, следует всячески помогать нам в работе. Электрошок, месье Латремольер, вгоняет меня в отчаяние; он отнимает память, притупляет разум и чувства, превращает меня в кого-то, кого здесь нет, и знающего, что его нет, и мечущегося в поисках самого себя, точно мертвец рядом с живым человеком, который уже перестал быть самим собой, но который настаивает на присутствии мертвеца, хотя больше не может в него войти. Я к Вам очень привязан, и Вы это знаете, но если Вы не прекратите эту так называемую терапию сейчас же, Вам уже не останется места в моем израненном сердце».

— Писатель, актер-поэт, любил писать о других писателях:

«По нашли мертвым на улице, в Балтиморе; и умер он не от белой горячки в алкогольном бреде. Нет, нашлась паратройка мерзавцев, которые ненавидели его гений и презирали его поэзию, и они отравили его, чтобы он больше не

смог приносить утешения истерзанным душам — того ужасного утешения, что открывалось в его стихах.

«Вполне допустимо», — и это важно, —

сказал один из мальчишек, самый романтичный:

— ... «создать свой собственный язык, также вполне допустимо создать язык с добавочными, сверхграмматическими значениями, но тогда эти значения должны быть действительны и правомерны сами по себе. То есть, они должны происходить из страданий и боли. Я люблю стихи изголодавшихся и больных поэтов, отверженных и отравленных: Франсуа Вийона, Шарля Бодлера, Эдгара Аллана По, Жерара де Нерваля, — стихи казненных преступников от языка, которые выстрадали погибель в своих произведениях...»

Было несколько мальчиков, которые при жизни актера-поэта принимали его сочинения всерьез. Считали, что его работы о теле семьи и о семье тела, и его убежденность, что это тело должно постоянно меняться — это действительно очень важно. Они сделали его преданными последователями. Они таскались за ним повсюду. Они хотели быть им.

4 марта около восьми утра Убогий Господь, точно ребенок, умер где-то в Китае. И в момент его смерти его язык распался на забываемые, нечитаемые фрагменты.

Мальчикам, следовавшим за ним, стало не за кем следовать. Потому что уже никого не осталось. И они поехали в Англию.

— И там были мальчики, мальчики, мальчики.

— А потом появились мы.

В первые дни в Брайтоне, в этом мертвом городе, мальчики-панки не знали, чем им себя занять, и поэтому стали читать книги. Все эти книги были про одного мальчика.

И вот эти грязные, плохие мальчишки пересказали нам его историю, причем получилось вполне романтично.

— Хотя у этого мальчика была подруга, которую звали Грязнуля, его больше всего волновало, как бы она от него не залетела.

— И все это знали.

— Хватит, может быть, умничать? — сказала Король Киска. После чего отрубилась.

— Это еще что за хрень?! Про нас, про женщин?! — проревела МД. И пнула дохлую рыбу.

— Да отрезать им, на хрен, бошки, — вступила безногая пиратка, — чего это они не хотят, чтобы бабы рожали детей, когда бабам хочется нарожать много-много детишек.

И никто из мальчишек не стал с ней спорить.

Но никто не знал, что Грязнуля, хотя она и не хотела бросать Крысюка, мечтала родить ребенка.

У Грязнули было две страсти в этой жизни: хотеть ребенка и принимать ванну. Речь не шла о чистоте. Грязнуле было насрать на какую-то там чистоту; она жила на заброшенном кладбище. Нет, ей просто нравилось часами лежать в воде. Лежать в воде и вдыхать запахи: запахи ночи, запах сов со скрытыми в перьях глазами, запах розы, лаванды и розмарина, запах бутонов, медленно раскрывающихся в темноте. Запах вечера и сновидений, запах змей, ищущих крыс, которые сами давно уже не наедались досыта, запах листьев, промокших под жидкой грязью, что падает с неба. Аромат или вонь протухшей воды в подземных лужах, захваченных в изломах под почвой. Грязнуле нравился собственный запах.

— И вот как-то ночью — то есть, уже под утро — когда Грязнуля лежала в воде, она взяла пемзу и стала тереть свою кожу. Вода вспенилась серыми хлопьями. Из своей отшелушенной кожи Грязнуля слепила фигурку мальчика.

На воде остались чешуйки.

А потом кто-то к ней постучался.

Тук-тук-тук.

— О, нет, — сказала Грязнуля. Она не хотела никого впускать. —! — потому что она еще не придумала, как назвать сына. — Защищи меня! Посторожи у двери!

Послушный сыновнему долгу, ее сын, как был, мокрый, бросился к двери, распахнул ее и принялся избивать человека, что стоял на пороге.

Мальчик-панк пытался войти к себе в дом, а его злобно прогнали.

— Ну, прям, как меня, — пробормотала Киска.

— Считая себя человеком элитным, он не полез в драку. Побоялся запачкать холеные руки. Мальчик-панк кликнул своих парней, из кладбищенского воря, с мерзопакостными гнилостными

языками и кожей, заляпанной спермой, которые вечно таскались за ним по пятам. Они и сейчас были рядом, стояли в сторонке и пытались дрончить. Они все были демонами, и кто-то из них без малейших усилий срезал голову сыну мальчика-панка.

— Младшему мальчику-панку.

— Глядя на обезглавленное тельце своего сына, красивая девочка горько расплакалась. Желая покинуть этот жестокий мир, она выплакала все глаза. Глаза отправились в странствие.

Мальчик-панк осознал, что он сделал: его подруга, с которой он жил, ослепла. Из-за него. Надо было немедленно что-то делать, чтобы вернуть ей зрение. Чтобы она опять захотела видеть.

И тогда он подошел к первому же существу, наделенному чувствами, что попало ему на глаза, и отрезал ему голову.

А потом приставил эту голову, которая изначально была головой слона, к окровавленной шее сына.

Грязнула и мальчик-панк назвали своего безымянного сына:

*Ганеша.*

Так мальчики-панки объяснили нам, что значит быть пиратом. И мы решили присоединиться к ним. Только теперь мы сумели составить устав пиратства.

## *Устав пиратства*

### 1. О наших целях:

Найти то место, откуда мы родом.

#### а. Пояснение:

«Гаджа» («слон») означает «происхождение и цель»

i. «га» = «цель»

ii. «джа» = «происхождение»

### 2. О сущности всякого, кто совершает пиратский поступок или проникается духом пиратства:

Получеловек — полужверь.

#### а. Пояснение:

Согласно легенде — а только легендам и можно верить на этих печальных, мертвых островах, — слон восседает на человеке.





а. Пояснение:

В самом конце — крысы.

i. «Муша» («мышь» или «крыса») происходит от корня «муш» («красть»).

Крыска толстая, потому что все сущее в мире находится у нее в животе, а сама она не находится ни в чем животе, потому что если она попадает кому-то в живот, она прогрызает себе путь наружу. У нее рыжая шерсть. Всякий раз, когда кто-то в мире уверен, что ей хорошо и приятно, на самом деле, приятно Крыске, потому что она крадет все, что есть, в том числе — и удовольствие.

Крыску никто никогда не найдет: она живет глубоко внутри, в расщелинах мира. В расщелинах между красными цветами. Имя каждой расщелины — «разум».

У Крыски всегда менструация.

**... так началось царствие девчонок пиратов...**

# ПОРЯ ПИРАТОВ



# Пиратский остров

История О, продолжение

## Явь сновидений

Мир, прогнивший насквозь, дает трещину  
мир ломается на куски

и я заползаю туда,  
в эти трещинки

у меня еще не было никого для  
любви

в этом мире, который есть  
но я никогда не хотела,  
чтоб у меня кто-то был  
моча у меня на зубах, и говно

(стихи, которые написала Анж,  
потому что поэзия – это то, что  
добывает этот мир)

Я хотела умереть...  
Я – девчонка,  
с черной ночью в глазах  
умереть – только не насовсем  
а на время

Пока мир ломается на куски  
и все богатые умирают,  
и все мудаки, что меня обижали,  
эти хнычущие долбоебы.

Мы выползаем из этих трещинок, сироты,  
претерпевшие лоботомию;  
если кто меня спросит, чего я хочу,  
я отвечу: всего и сразу.

Мир, прогнивший насквозь,  
дает трещину  
мир ломается на куски  
а я раздвигаю ноги

Трое сидят чуть поодаль, в вагоне метро. На северной ветке. Трое детишек, которые спорят, кого из пассажиров они будут грабить. Один из мальчишек, который самый толстый, говорит тонким девчачьим голосом. Там, снаружи, карманники ждут у билетных касс. Под ногами – гниющий мусор. Пинаю ногой индюшачью кость, в пятнышках крови.

Повсюду – бродячие псы.

— Не хочу возвращаться сюда. Никогда, — сказала я, когда мы уезжали из Лондона.

Как раз в это время мы познакомились с той, другой девочкой. Она была очень странная, очень. Мелкая, худенькая, с волосами, окостеневшими от грязи, так что казалось, она собрала к себе на день рождения все заразные заболевания, которые только есть в мире.

Только потом я узнала, что у нее *каждый день* — день рождения. И еще она сильно прихрамывала на одну ногу.

Она привела нас в какой-то район, где, как мне показалось, я когда-то жила.

Но Анж мне напомнила, что мы нигде никогда не жили.

— Здесь больше мертвых, чем там, где мы только что были.

— Это именно то, что мне нужно.

Мы нашли там отель, такой же грязный, как волосы этой девочки. Нечто среднее между грязью и гнилой пеной.

Девочка объяснила, что в этом городе нет ни одной собаки, но когда-то здесь были пираты. Она сама жила в тесной квартирке над пабом, где было много других девочек — таких же, как она. То есть таких же чумазых и грязных. Ну, или почти таких же. Стены квартиры были утыканы ножами, потому что у каждой девочки был нож, и когда у них были волосы, на голове или внизу, они очень старались их сохранить. У кого-то из этих девочек не было ни одного зуба; у кого-то какие-то зубы были, но они сами выдергивали их у себя изо рта.

Они тусовались с парнями, которых тут называли *мальчишками-панками*.

Этот паб был всего лишь в квартале от нашей грязной ночлежки. Двухэтажное деревянное здание, точно такое же, как и отель. Собственно, кроме отеля и паба, никаких других целых зданий там не было. Остались только пустые стоянки, песок и пригородные поля.

Мне приснилось, что этот район был как бы и городом, и предместьем, потому что там не было разницы между тем и другим.

Отель представлял собой просто хибару, потому что внутри все менялось. Все металлические компоненты. Детали электромагнитных компьютерных вирусов превращались во что-то другое. Что-то похожее на сновидение.

— Тебе надо спуститься на самое дно. — Вот что сказала мне та девчонка в нашу первую встречу.

«Забывать» значит *«преобразиться во что-то другое»*. Преображение — трансмутация. А мне казалось, что про алхимию давно все забыли. Но, как писала в одном из писем святая Барбара: «Когда история засыпает, нам остается лишь тихо ходить вокруг хижины».

Теперь я начала понимать — хотя раньше я как-то об этом не думала, — что все металлические предметы, как, например, гайка на тормозном рычаге, заключают в себе свое прошлое. Несут на себе отпечатки всех действий и всех влияний, из которых составлено это личное прошлое. В той мере, в которой *«личное»* означает все, что угодно. А здесь, в этой хижине, металл утратил свою историю. Все следы прошлого стерлись.

Отец бросил меня еще до того, как я родилась.

До меня вдруг дошло, что говорит эта убогая: что она здесь хозяйка. Владеет баром. А так вот с виду — не скажешь.

— Я не хочу быть хозяйкой, — прошептала она. — И тем более — домовладельцем. Даже в доме, который уже и не дом, потому что какие-то стены давно обвалились, и здесь живут крысы, хотя, вообще-то, их сюда хрен заманишь. Ну, большинство. Даже близко не подойдут, крысюки, хоть ты им деньги плати.

Меня это все достает, если честно. Мне от этого плохо и мутно. Я поэтому и заболела, то есть, по-настоящему заболела. Жизнь на суше расстроила мое здоровье.

Мне бы хотелось вернуться и снова отправиться в море.

Я вдруг подумала, что, может быть, стоит ее нанять: пусть она соберет нам команду из настоящих морских волков, которые смогут доставить нас с Анж на тот остров на карте.

Вряд ли бы эта девчонка смогла разыскать остров сама, потому что, во-первых, у нее не было высшего образования, а во-вторых, она была женщиной. Такой же неприспособленной и никчемной, как и мы с Анж.

Но я не успела ничего спросить. Потому что ее уже не было. Мне на память осталась лишь прядь серебристых волос.

В ту ночь мне приснилось, что я вышла из хижины в поисках девочки с серебристыми волосами. Снаружи клубился густой туман, и было совсем ничего не видно. Я вошла в это белое марево и как будто ослепла.

Я развернулась и пошла туда, где был свет. Наверное, свет был не только в том месте, но других мест, где свет, я не знала.

Там были люди. Много людей. Те, кто преобразуют металлы. Например, мотоциклетные гайки.

— Они вечно таскают с собой все свои предрассудки, — сказала я вслух.

На следующий день Сильвер мне все разъяснила. Очень подробно. Почему она ходит такая грязная. Потому что все ее девочки тоже грязные: сироты, беженки и другие отверженные — даже те, что из богатых семей. Такие девчонки, которым некуда больше идти, кроме паба. И, конечно же, Сильвер не может обидеть своих постоянных клиенток тем, что станет купаться в ванне или мыть голову в раковине на кухне.

Вот тогда-то я и поняла, какая же она грязная, на самом деле. У нее в волосах жили крысы. Нет, правда. Я сама это видела: у нее в волосах копошилась крыса. Там, вообще, было много всего: использованные презервативы, пара ножей, сломанная расческа.

От ее волос пахло крысиным дерьмом и протухшей рыбой.

— Океан, хранилище наших тел, включая наше дерьмо и мочу, — продолжала Сильвер, — это дом мертвых пиратов. Они там живут, в океане. Вместо денег у них — собственные глаза, и они покупают себе все, что нужно, на эти деньги-глаза, потому что при жизни они ничего себе не покупали. Все, что им было нужно, они отбирали силой.

— Мертвые пираты — товарищи моряков, потому что для тех, у кого нет дома, смерть — это так же обыденно, как и жизнь.

Я поняла, что ничто человеческое ей не чуждо: ей знакомы тоска, одиночество, страх, — и поэтому я ей доверилась. Я показала ей карту. Конечно, не стоило этого делать, но вот такой я доверчивый человек.

Она закашлялась, чтобы напомнить мне лишний раз, какая она вся хворая.

— То есть, тебе нужен корабль. И команда.

— Мне надо добраться досюда, — я опять ткнула пальцем в карту.

— Сделай мне копию карты.

— Нет.

Она так страшно закашлялась, что мне стало жалко ее. Очень жалко. Потому что она не следит за собой. Потому что ей на себя наплевать. Она даже внешне похожа на крысу.

— Вот так оно и бывает со всеми домовладельцами, — продолжала Сильвер. — КХ. КХ. Ни минуты покоя. Сплошная работа, работа, работа. И днем, и ночью. А потом вдруг понимаешь, что у тебя в жизни уже ничего не осталось, кроме этой паршивой работы. Да и жизни-то, в сущности, не осталось. В этой тупой, беспросветной реальности нет уже ничего, что можно было бы назвать жизнью. КХ. КХ. Держать свой паб — это собачья жизнь. А я — как старый охотничий пес, что продирается сквозь умирающий мир. Вынюхивает дорогу. КХ. КХ.

Я слушала, что она мне говорит, и вдруг, на какую-то долю секунды, мне очень ясно представилось, что это такое — стареть.

— А кто позаботится о стареющем псе? Никто. КХ. КХ. Вот почему я забочусь обо всех осиротелых дрянных девчонках.

— Мы с Анж — не дрянные девчонки.

Ее голос вдруг изменился: сделался тонким и звонким, как у маленькой девочки.

— А на что еще может согдиться такая старая сука, как я? — Хотя мне она не казалась такой уж старой. — Что я еще могу в этой жизни? Только вот помогать молодым девчонкам: находить для них то, что они так отчаянно ищут. — Она тряхнула своей серебристой гривой. То есть, она бы была серебристой, если бы Сильвер хоть изредка мыла голову.

Похоже, я покати́лась вниз. Неудержимо. На самое дно.

— Возьми меня с собой, — попросила она. — На поиск сокровищ.

Я вернулась в отель и рассказала все Анж. Что Сильвер — старый моряк, живет на суше и держит бар. Знакома со всеми девчонками в Брайтоне. Что она уже тянет меня на дно.

Анж спросила, что значит «на дно», и я послала ее на хуй.

Анж пригнула мне голову и отвесила подзатыльник.

На следующий день Сильвер привела меня к себе в паб. В «Плещивую черепашку». На этот раз мы не спускались на дно, потому что, хотя снаружи этот приют для молоденьких алкоголичек выглядел, как крысиный сортир, внутри было на удивление прилично и чисто. Изящные красные шторы на маленьких окнах. Пол, вычищенный до блеска. Хотя и засыпанный опилками.

Хотя, с другой стороны, там повсюду валялись грязные, пьяные в усмерть девчонки: прямо на полу, вповалку. Половина из тех, кто был еще более-менее в сознании — а было только десять утра, — курили сигары и какие-то жуткие самокрутки. Сквозь густую завесу дыма, которая ослепила бы и Востроглазого пса, мне показалось, я вижу проблески золота и серебра: не на поверхности этих хрупких тел, а у них внутри — драгоценные камни на самых невообразимых местах, исчезающие под кожей. У тех, кто лежали в отключке — у самых пьяных, — тела были сплошь изрисованы татуировками, и мне показалось, что я очутилась в музее девочек, освещенным уже не искусственным светом, а солнцем, которое под конец уходящего дня подсветило воду и обнаружило потайные дороги к сокровищам.

Я обернулась к Сильвер.

— Вот они, эти девочки, про которых я говорила. Те, кого вы искали, ты и эта твоя подруга, как там ее, не помню. У них даже есть капитан. Зовут Киска.

Наверное, вид у меня был слегка разочарованный, потому что она добавила, что хотя эти девчонки выглядят, как безнадежные алкоголички, мне сразу же следует уяснить для себя, что когда дело касается моря, внешность часто обманчива. Да, может быть, внешность у них не особенно привлекательная, но они настоящие моряки — опытные, просоленные океаном морские волки. У них даже

есть свой корабль, полностью оснащенный и готовый к отплытию. Называется «Мэри».

— И, что самое главное, это гребная шлюпка.

— Что?

— Этот твой хренов Пиратский остров, или как ты его называешь, этот отстойник...

— Он не *отстойник*. Отстойник — это *твой паб*.

— ...он всего в девяноста милях отсюда. Так что тебе с твоей зеленоглазой подружкой не придется тащиться куда-нибудь на край света.

— Где капитан? — спросила я.

— Ее нет. Ушла смотреть сны.

— Ага.

— Но ты глянь вот сюда.

Я увидела долговязую, худенькую девчонку, что лежала в обнимку с двумя огромными волкодавами.

— Она бьет точно в цель с сорока шагов. Убивает на месте. По ходу пожевывая табак.

В общем, я начала понимать, что в этом, наверное, есть свои плюсы: чтобы взять этих противных девчонок с собой. За сокровищами.

Девчонка с серебряными волосами сказала мне, что МД — так звали девочку с волкодавами, — не только мастерски стреляет, но и периодически моется в ванне. Я заметила, что теперь эта скелетина, эта МД и один из ее псов страстно сплелись языками.

Что-то происходило со мной, во мне — хотя это, наверное, одно и то же, — но что-то определенно происходило, потому что я вдруг поняла, что уже не могу вспомнить, что я чувствовала, когда была шлюхой.

Снаружи, за одним из окошек, часть неба была совершенно серой.

Сильвер стояла так близко ко мне, что едва не облизывала мне плечо, и тогда я обернулась к ней и сказала, что мы с Анж нанимаем ее и еще нескольких девчонок, чтобы они отвезли нас на остров, который на карте. На карте, которую Анж получила от матери.

— Нескольких не получится. Либо всех, либо вообще никого, — сказала она, когда у нее освободился язык.

Когда мы с ней увиделись в следующий раз, она наредила губы ярко красной помадой, хотя ее волосы были даже грязнее, чем в прошлый раз. Спасибо крысам, которые исправно плодятся, хорошо кушают и хорошо испражняются.

На этот раз Анж решила пойти со мной, и мы все трое спустились вниз, на самое дно этих брайтонских улиц, которые были такие узкие, что казалось, обрываются в бездну. И вот, наконец, справа открылись причалы. Длинные-длинные пирсы, каждый — длиннее самой длинной веревочки на тампоне из всех, что я видела в жизни.

Мы прошли несколько пирсов, и вышли к причалу, изогнутому полумесяцем.

И там была лодка, как будто рожденная от ущербной луны.

Лодка, длинная и поджарая, как волкодав, и такая же вонючая. Даже, наверное, еще духаристее. Вся покоробленная и перекошенная, причем без помощи солнца, потому что здесь, в этом городе гниющих людей, солнца почти не бывает.

Похоже, там жили какие-то звери: я заметила высохшие фекалии, и еще — паутину, какие-то гнезда и изгрызенные носки. И две ярких рыбьих головы.

Все борта этой убогонькой шхуны заросли грибок, мхом и мидиями. Анж была так голодна, что захотела назвать корабль *«Все, что лезет мне в рот»*.

Я сказала ей: нет. Это не очень удачная мысль. Из волос Сильвер вылезла крыса, и я сказала:

— Не надо его называть, никак...

— Не надо?

— А мы знаем, кто нарисовал эту карту, где остров? Или мы знаем по имени всех этих мертвых пиратов, что живут в красных кровавых морях — всех, кто станут нам проводниками? — Металлы преобразились, подумала я про себя: все следы на металле или воспоминания стерлись. — Нет.

Я обернулась к Сильвер.

— Скажи мне, девочка, когда мы отплываем?

— Я не всегда девочка. — Он засунула палец себе в прическу и почесала голову. В том самом месте, откуда вылезла крыса.

— Ага.

На мгновение мне вспомнился сон, который однажды приснился нам с Анж. Но память стерлась.

— Мы отплываем завтра.

## **ТУДА, ГДЕ ВСЕ НЕЗНАКОМО**

— Йо-хо-хо, и бутылка рому! — звенел голос Сильвер...

все старье, что отжило свое, превращается в хлам  
годный только на выброс  
пламя уже занялось — мир горит

Две пропавших девчонки на сундук мертвеца  
не какой-нибудь там ерундой занимаются  
раздирают по буквам неведомые алфавиты  
глотают слоги ведущих к сокровищам слов  
по морям из искрящихся звезд  
где сны блестят на костях мертвецов.

Десять гадких девчонок на сундук мертвеца  
не какой-нибудь там ерундой занимаются  
задницу всякому надерут  
все, что есть у тебя, отберут  
и ножиком острым зарежут, хо-хо.

Все, что было твоим, превратиться в хлам  
годный только на выброс  
пламя уже занялось — мир горит...

Так мы вышли в море.

Перед самым отплытием МД привела на корабль своих волкодавов. Все восприняли это, как должное. Псы были такими же долговыми и худыми, как их хозяйка, и так же нетвердо держались на ногах. Анж сказала, что от псов тоже разит крепкой выпивкой.

Я рассказала Сильвер, что в Китае у меня был бурный роман с одним опустившимся алкоголиком, и этот роман опустошил меня так, что теперь я уже не смогу ни с кем сблизиться, никогда.

Она ответила, что МД вообще не пьет. И поклялась, что на корабле нет ни капли спиртного.

крысы выходят из расколотого яйца  
пожирая все ночи и дни  
а потом заползают в немые волосы – к нам  
выпивая всю воду, которая там.

Киска, капитан. Ходила с повязкой на глазах, потому что, как она объяснила, ее ранил сон.

Так что Сильвер, на второй или на третий день плавания, назначила Дрянную Собаку старшим помощником капитана.

Это была настоящая уродина: такая страшная, что, завидев ее, чайки и даже более хищные птицы в ужасе разлетались. Одна из птиц, обезумев от страха, рванулась не в ту сторону и пробила нам парус – насквозь. После этого пришлось завести мотор, который обнаружился на киле.

И это только один пример того, как Киска командовала кораблем.

Я не помню подробностей. Не помню, что происходило между девочками на корабле. Теперь, когда все уже в прошлом, я помню лишь цвет волос Сильвер. И запах – такой же, как цвет.

Цвет и запах – как две звезды, что каждую ночь изливали свой свет мне на голову. Звездный свет, слой за слоем – пока из него не возникла материя, которую девочки на корабле называли «ночь».

Девочки лежали в отключке на нижней палубе.

Кого-то стошнило на ошметки паруса. В память о детстве. Обо всех детствах.

А потом Сильвер выбрала меня в наперсницы. Она нашептала мне, что Дрянная Собака стала первым помощником потому, что помимо донельзя уродливой внешности, у нее и характер уродский: дворняга – дворняга и есть. Бешеная сука в нескончаемой течке. Качества, редкие для девочки. Она была такой злой и подлой, что если к ней приближалась другая девочка, на расстояние дюйма в четыре, Дрянная Собака сразу бросалась *кушаться*. Настоящая *девочка*. Примерно раз в месяц она точит зубы – чтобы были острее. Так что дело не в том, что наш новый старпом не умеет командовать: просто она сперва лает и только потом думает.

Девочки не возражали, что она приняла командование, потому что никто и не рвался на эту должность. И вообще – на любую должность. Тем более что Дрянная Собака содержала корабль в относительной чистоте. Из-за своей диеты. Она ела крыс. На самом деле,

в ней было что-то от крысы, что-то нечеловеческое: ее холодность и бесчувственность, ее злоба, лживость и сообразительность. Ближе к вечеру, когда солнце делалось цвета крови, скушав пару десятков крыс — мышей Дрянная Собака презирала, — она выпивала бутылку-другую рома, чтобы смыть кусочки крысиных костей, застрявшие в зубах. И другие девчонки — тоже, хотя они и не ели крыс. А Сильвер все так же божилась, что на корабле нет ни капли спиртного.

Но Дрянная Собака напивалась сильнее всех, потому что ее никогда не вырубало.

И чем сильнее она напивалась, тем соблазнительнее и сексапильнее становилась. Она была такой мерзкой — в физиологическом смысле, — что это действительно привлекало. Всех, кроме самых прожженных морских волков, вроде Киски и Сильвер. И если кто-нибудь из молодых девчонок, из тех, что вечно болтались поблизости от Дрянной Собаки, напивался до полного помрачения и подходил к этой бешеной суке на расстояние вытянутой руки, Дрянная Собака тут же вгрызалась в нее и глодала ее, точно кость.

И каждую ночь в небе светили звезды, изливая призрачный свет нам на головы, и исчезали, и появлялись опять, пока нам с Анж не стало казаться, что нас уносит в страну небывалых чудес; а Дрянная Собака потихоньку ушла в затяжной запой. Она пила все, без разбору: и виски, и пиво — и свое, и чужое. Ее восприятие и движения затормозились настолько, что она вообще уже не понимала, что происходит вокруг.

И все девчонки валялись, пьяные, под звездами, озарявшими ночь.

В одну из таких пьяных ночей Дрянная Собака упала на палубе, сильно порезалась и так и осталась лежать в луже собственной крови. В другую ночь, взбесившись сильнее обычного, она почти насмерть зарезала девочку, совсем ребенка, которая — может быть, потому, что еще не знала, что такое секс, — посчитала себя подружкой Дрянной Собаки.

Вот тогда Анж и сказала, что Дрянная Собака — она и есть дрянная собака. Паршивая псина.

И ладно бы эта шелудивая сука просто пила себе втихую и никого не трогала. Так нет же: она подбивала на драки других девчонок.

Просто по злобе. Кровавые драки, причиной которых была ее наглая ложь. Так что никто не жалел о пропаже, когда одной темной ночью она вдруг исчезла.

Куда они там исчезают, дрянные девчонки...

А Киска вообще ничего не заметила.

Казалось, что все это — неспроста; что к чему-то оно приведет. Вот только когда это «что-то» случилось... в общем, такого я уж никак не ожидала.

## **ВСЕМ МЕРТВЫМ СОБАКАМ ЭТОГО МИРА**

А спустя пару дней я как будто воочию увидела, как Дрянная Собака жует крысу. И подумала, что, наверное, пора обедать. И в ту же секунду мне на ногу наступила огромная крыса, длиной фута в три, не считая хвоста; теперь, когда наша дворняжка куда-то пропала, очищать палубу от грызунов стало некому.

Так получилось, что почти все девчонки в команде были вегетарианками.

По какой-то необъяснимой причине это видение — Дрянная Собака, жующая крысу, — возбудило во мне жуткий голод. Я побежала к бочке, где мы хранили наши запасы скоропортящейся еды. Заглянув в темноту, я увидела, что там остались одни только яблоки, причем половина из них испорчена.

Наверное, я решила забить голод сном, и действительно задремала за бочкой, потому что меня разбудил голос серебристоволосой девчонки, шепчущий мне прямо в ухо.

На самом деле, она обращалась к другой девчонке, с той стороны бочки.

— ...кораблей, что мне довелось повидать в свое время, озверевших от крови и перегруженных золотом и драгоценными камушками...

— Только где они теперь, эти разбойные души?

— Все мертвы. И их белые кости ложатся на дно, среди костей других мертвых разбойников. Прах — к праху, кости — на кости.

Где сегодня все псы обретаются?

Мертвые собаки не кусаются.

И снова Сильвер ответила:

— Всем мертвым собакам этого мира: вы были отчаянными храбрецами. Сам дьявол и тот не решился бы выйти с вами в открытое море.

— И как ты думаешь заполучить карту?

Голоса были повсюду вокруг. Хотя говоривших было всего двое. Я опять оказалась в том коридоре, где не было света — где ничего не было видно. На пороге родительской спальни. Они обсуждали меня, и я едва разбирала слова, потому что они говорили вполголоса. Так я впервые узнала, что я чужая в этом мире людей.

— А что тут думать?! Давай их убьем, — предложила Сильвер.

— Я не могу убивать девочек.

— погоди, ты еще никого не убила. Но у них карта.

Скорчившись на палубе, склизкой от гнили и слизи, я безумно скучала по детству: по всему тому, чего у меня не было никогда.

Скорчившись в этой душной темноте, на досках, заплыванных крысами и людьми, я снова стала ребенком, потому что опять очутилась в мире вражды и злобы. Моя мама была настоящим чудовищем, потому что все мамы, которые люди, обязательно любят своих дочерей, а она меня не любила. Она хотела меня убить. Я уже знала, откуда появляются чудовища. Из фантазий. Значит, мне надо было избавиться от своих фантазий.

Мне надо было понять, кто моя мама на самом деле.

— Но если у нас будет карта, зачем нам их убивать?! — сказала другая девочка.

— А затем. Мертвые собаки не кусаются.

— Ты хочешь сказать, даже если у нас будет карта, и мы найдем эти сокровища, они все равно могут нам навредить?

Я начала узнавать этот голос.

— Ну, да. Они могут на нас донести, чтобы вернуть сокровища. И нас всех повяжут. А еще они могут воззвать к правосудию, и тогда нас всех вздернут, голых, на самой высокой мачте. *Мертвые собаки не кусаются.*

Теперь я снова узнала, что знала, когда была маленькой. Они придут за мной... уже идут...

И если меня найдут... Сердце подпрыгнуло и застряло тутим комком в горле. Горло наполнилось кровью.

Наверное, что-то похожее было со мной и тогда. Когда я была маленькой.

Все, что теперь позабылось.

Девочки.

Киска — да, теперь я узнала ее голос, — сказала, что хочет есть. И пошла к бочке с гнилыми яблоками. Я слышала ее шаги.

Ветры дули сквозь клочья тумана, такого густого и серого, что взгляд уже не пробивался сквозь его плотную пелену. В том небе не было ни облаков, ни птиц. Весь мир сделался серым. Но, наверное, в этой клубящейся серости все-таки были разрывы, потому что чей-то надтреснутый голос неожиданно выкрикнул слово:

— Земля!

Туман рассеялся, и показалась луна. Сквозь просвет — не *на* небе, а *в* небе, — я разглядела то, что несовпадения этого мира сделали зримыми. У меня перед глазами возникла вторая линия горизонта. Как будто небо расколосось на две половинки двух разных оттенков черного.

Постепенно среди черноты проступили звезды. Звездный свет посеребрил корабль. Большинство девочек были на палубе: стояли или лежали под этими звездами. Я все это видела, как во сне, потому что еще не отправилась от своего страха.

Тогда я еще не понимала, что в данную минуту мне ничто не грозит.

И пока что можно не опасаться за свою жизнь.

— Девчонки, — спросила капитан, так и ходившая с повязкой на глазах, — кто-нибудь из вас видел эту землю раньше?

— Я видела, сэр, — ответила девочка с золотистыми волосами, что как будто стремились сорваться и улететь прочь. — Когда я служила на судне у капитана Бонни.

— И как называется этот остров?

— *Pas Sang Rouge*. Или Пиратский остров. Раньше тут всегда останавливались мятежные моряки, как они сами себя называли, и одна девочка с корабля Бонни знала все названия, которые пираты дали этим местам. Вон тот холм, видишь...

— Не вижу, — сказала Киска.

— Там пираты вычищали червей из награбленного добра и рисовали поддельные карты, на которых обозначали места, где якобы спрятаны клады, — объяснила Сильвер.

— Главное, мы теперь знаем, где мы. Ладно, все за работу. Вы знаете, что надо делать. Будем высаживаться на остров! — Киска развернулась и пошла прочь. Если ее и пошатывало от выпитого, то совсем чуть-чуть. Остальные девчонки, кроме тех, что уже отрубались на облитой звездным светом палубе, направились следом.

Я ждала, пока все не уйдут, чтобы броситься к Анж. Она спала, то есть, мир все еще виделся ей зачарованным и прекрасным. План у меня был простой: надо ее разбудить, и рассказать обо всем, что я сейчас узнала, и убедиться, что карта по-прежнему у нас.

Надо ей втолковать, что эти девчонки желают нам зла, что они замышляют недоброе.

И нам надо придумать, как нам спастись.

Признаться, я испугалась, когда увидела, что Сильвер подходит ко мне. Я знала, что сейчас она ничего мне не сделает, потому что вокруг был народ, пусть они и валялись в отрубке, эти девчонки, и еще потому, что она не знала, где мы прячем карту; так что я просто спокойно пошла к люку в трюм, чтобы Сильвер подумала, что я вышла на палубу вместе со всеми, когда раздался крик: «Земля!»

Но я не успела спуститься в трюм. Сильвер подошла ко мне раньше и положила руку мне на плечо.

Разумеется, мне не хотелось, чтобы она поняла, что я все знаю о ее истинных планах насчет нас с Анж; что я знаю, что эти девчонки — пираты. Вот почему я не сбросила ее руку.

Я не сказала ни слова.

Под небом, что все еще наполнилось звездами.

— Слушай, — сказала мне девочка с серебристыми волосами, — я тебе все расскажу. Про этот остров, куда мы идем. — Она убрала руку с моего плеча. — Я здесь бывала не раз: я знаю все тропки и все обходные дорожки на этом острове. Я тебе все покажу, все тропы и лабиринты — чтобы ты не потерялась, чтобы ты не боялась.

Я не сказала ни слова.

— Сейчас ты боишься.

Я вновь почувствовала ее руку у себя на плече.

— Закрой глаза. — Ее голос звенел у меня в ухе. В тот миг я рассталась с детством.

Она закрыла мне глаза свободной рукой.

— Где тебе больше всего хочется оказаться?

Она внушала мне ужас своей жестокостью и двуличностью, своей огромной властью над корабельной командой, и я знала, что ей нельзя доверять. Знала, но все равно доверяла. Сама не знаю, почему. Просто такой я доверчивый человек. И не могу по-другому.

Ее рука двинулась вглубь, как будто пираты были исследователями, а я — предметом исследования.

— Я заберу тебя в такое место, о котором ты даже не знаешь, и там ты сможешь открыть глаза.

Звезды сияли по-прежнему, или, может быть, нет, потому что все в мире уже преображалось во что-то другое. Мир выворачивался наизнанку — через кожу или через стирание всех различий. То, что было внутри, теперь стало снаружи.

Тело захватило власть над сознанием. Я провалилась в сон, словно в обморок. Там, где я очутилась, было спокойно, приятно и тихо. Там все было лиловым и серым, и воздух отражался в воде, как в зеркале.

Теперь я видела землю.

Высокие деревья, равнозначные своей тени.

Корабль снова отправился в плавание. Вода под нами была точно такой же, как воздух. До тех пор, пока возможность прибыть на место оставалась всего лишь возможностью. Потому что конец пути — это всегда как оргазм. Неистовый, яростный. И мы плыли и плыли, потому что вода и воздух, отражавшиеся друг в друге, были беспредельны.

Из лесов в глубине этой земли вышли звери. Пушистые звери. Их было так много, этих мелких зверюшек, что я уже не могла остановиться.

— Би-бип, — кричали маленькие зверюшки, — би-бип.

— Мне нужно найти это место, где рождается это серое марево, — сказала я. Только меня никто не услышал. Потому что рядом не было никого. — Мне нужно снова туда попасть.

И я пошла в это место, и пейзаж снова раскрасился зеленью. Такой насыщенно яркой, что с ней уже было не справиться.

Когда я вновь смогла заговорить, хотя и утратила смысл всяких слов, Сильвер уже не было рядом.

Не надо было рассказывать Анж обо всем, что случилось. Но я все равно рассказала.

## ПОРЕЗВИТЬСЯ НА СОЛНЫШКЕ

Я знаю: пока мы живы, мы постоянно меняемся. Но я не знаю, верно ли это для снов. В царстве снов живет прошлое.

Когда я все рассказала Анж, и мы с ней вместе поплакали, я, наверное, заснула.

Потому что я вновь оказалась в Китае.

У моего алкоголика была работа. Он истреблял крыс. В Китае мы были вместе, и он повел меня пообедать в китайский ресторан. Он ел крыс. Пережевывал с хрустом — прямо с костями.

Я отказалась с ним целоваться.

Я не умею стрелять и вообще не люблю оружие, но он все равно повел меня в тир, где стреляли по крысам. Я посмотрела на эту штуку, которую держала в руках, и решила, что надо попробовать. Один раз. Потому что я пробую все. Хотя бы раз.

Так началось мое наказание за убийство крыс.

Я опять оказалась дома. У себя в комнате, узкой и длинной. Я была в самом дальнем конце; стояла на коленях на ковре. По ковру пробежал мышонок. Он подошел ко мне. И когда он взобрался мне на руку — на правую руку, — я в первый раз в жизни пришла в сознание, и поняла, что мышонок играет со мной в жестокую игру. Он рвал мне кожу когтями и грыз зубами.

Я задумалась, что это может быть.

Оно двигалось под ковром, справа от меня, и я накрыла его рукой, не давая ему двинуться с места — тому существу под ковром. Пальцы наткнулись на что-то мягкое, серое и упругое. Я боялась, что я его не удержу, но мне помог мой бойфренд. Я знала, что это крыса. И я проткнула ее ножом, прямо через ковер.

А потом мне стало стыдно, и чувство вины породило тоску и грусть.

Теперь мне приснилась Сильвер, а не просто девчонки-пираты. Я как раз вылезала из ванны, а на краешке ванной сидела она, Сильвер. Потому что она была массажисткой. Я швырнула ей полотенце и раздраженно сказала:

— Оно мокрое.

Я была злая, и эта злость почему-то напомнила мне о том, что между мною и этой девчонкой существует влечение. Когда она

рядом, все как будто заряжено эротическим электричеством. Мне показалось, ей хочется, чтобы я ее поцеловала, но я не знала, как целоваться с девчонками и поэтому не сделала ничего.

А потом мы с ней занимались сексом, на узкой кровати размером почти со всю ванную комнату — в комнате размером с ванную, так что, наверное, это была ванная. Если ваннные комнаты могут самопроизвольно меняться. А они могут. Прямо передо мной была дверь, или мне просто казалось, что я вижу дверь. Из-за двери доносился шум. Из комнаты моей соседки. Раньше там всегда было тихо. Я еще думала: какая же скучная у нее жизнь, у этой девчонки из комнаты через стенку. Потому что ее никогда не слышно. У нее никогда ничего не происходит.

Но я слышала нее ее, а себя.

Дверь распахнулась, хотя я точно знала, что она должна быть заперта — ведь это была дверь наружу. Но я забыла сказать Сильвер, которая теперь была подо мной, что дверь наружу открыта. Потому что я была слишком увлечена сексом.

А потом, когда все закончилось, я заползла в зазор между стеной и кроватью. И легла на пол. Сквозь прорезь для писем в дальней стене сочилась вода. Наверное, дождь шел уже долго, потому что на полу были лужи.

Там были постелены пластиковые пакеты, чтобы защитить пол. Но они не спасали от влаги, а только скрывали сам пол.

А потом сквозь прорезь в стене пролез кончик лопаты. Она была вся в грязи, лопата — как будто ей только что выкопали могилу. Она высунулась, как язык. Язык — это письмо. Но я знала, что это язык, потому что я чувствовала, как он лижет меня.

Что-то вцепилось в полу моего халата — что-то, что пряталось под кроватью и чего я не видела, — и стало настырно тянуть и дергать.

Потому что уже было утро, и сны закончились.

Пока мы с Анж спали и видели сны, точно были спящими девчонками-пиратами, корабль заметно приблизился к острову. Сейчас мы стояли где-то в полумиле к юго-востоку от берега.

Это было начало мира.

Сон шхуны, застывшей в своем сновидении — что там снится морским кораблям, — в сновидении о том, как за тобой по пятам

гонятся кровожадные пираты, а ты пытаешься убежать, но не можешь сдвинуться с места, потому что вода начинает густеть, и не пускает тебя вперед. Увязнув в грязи и воде, наша шхуна застыла на месте.

Нам пришлось брать лопаты и раскапывать вязкий ил, облепивший шпангоуты гребной шлюпки. И пока мы прорубали тропу в грязи — в грязи, что была твердой на вид, но легко разбивалась, как пена, и в грязи, что была твердой по сути и не поддавалась нашим усилиям, — с поверхности мутной воды поднялись странные испарения, и тучи мелких, почти невидимых мошек, населяющих воздух, заплясали у нас перед глазами. Это было похоже на ожившее полотно поп-арта. Такими они были яркими. Их крошечные крылышки и глазки навывкате, неподвижно зависшие в воздухе — в наших мыслях, — заражали сознание. Все, к чему они там прикасались, поражала болезнь. Там, в грязи, копошились личинки, и слизняки, и эти длинные-длинные червяки, все в каких-то белесых вздутиях, бугорках и припухлостях, как-то связанных с нашей сексуальностью. Или с той сексуальностью, из которой мы все происходим.

Вот таким образом нам удалось пробиться к земле, о которой мы с Анж грезили в снах еще в том, другом мире.

Берег, захваченный между снами и видимой явью.

Я трудилась до одури, потому что все остальные пираты, кроме Анж и Сильвер — или так мне казалось, — либо давно отключились в результате тесного общения с бутылкой мескаля, теперь пустой и валявшейся тут же, на палубе, рядом с крысой, которая, видимо, от того же мескаля и сдохла, либо, вообще, потеряли желание что-то делать.

Я была вся в грязи и в какой-то полужидкой слизи, такой противной и гадкой, что мне было страшно даже задуматься, что это может быть — наверное, точно так же изгваздался в свое время и Господь Бог, когда Он творил мир.

Корабль ткнулся во что-то, на вид похожее на землю.

Но мне было уже все равно, потому что я загляделась на Сильвер. Может, она и убийца, но зато очень красивая — когда все ветра мира развевают ее серебристые волосы.

— Плохой знак, — сказала она.

Может быть, она имела в виду те запахи, что исходили тогда от меня. Но я знала, что ей на меня наплевать, потому что у этой девчонки не было вообще никаких чувств, хотя большинство всех девчонок живут только чувствами.

Другая девчонка, с золотистыми волосами — та, что стояла за спиной у Сильвер, — обняла ее сзади.

Птицы кружили над нами, птицы кричали. Я знала, что клювы у этих птиц острые, словно бритва, и что они видят нас сверху, меня, Сильвер и Златовласку, эти парящие существа, которые были гораздо крупнее червей и мошек, но все равно не понимали того, что видели. Они снова принялись кричать.

Но не земля впиалась в борт корабля, а подводный риф на подходе к земле. Но все равно это было начало мира. Вернее, последний миг до начала мира. Потому что я уже видела то, к чему пока не могла прикоснуться. Я видела крошечные озера там, на берегу, серые, лиловые и зеленые, видела птиц, что кормились на них. Там было много травы: то пучки, а то целые заросли, — а потом вдруг вообще никакой травы. Она росла, как ей вздумается. Как попало. Скалы располагались в странном строгом порядке, а потом вдруг — в беспорядке. Все, что я видела на берегу, жило своей собственной жизнью. Жило, как хотело.

Большинство из пиратов надрались в стельку. До полной потери сознания.

Но Сильвер хотелось исследовать остров.

И мне тоже.

Анж напомнила мне о прошлом.

— Карта, которую нам дала моя мертвая мать.

— Только не надо впадать в сентиментальность.

— Ты разве не хочешь найти сокровища?

— Конечно, хочу. — Я помедлила. — Может быть, эта карта и пришла к нам от тела твоей мертвой матери, но это все сказочки мертвецов. Пиратские байки. Это все выдумали мужики, которые резали женщинам пальцы, чтобы потом сделать с ними чего похуже.

— Вырвать глаза и съесть, — предположила Анж.

Мне это понравилось. И вот тогда-то я и совершила первую ошибку. Очень серьезную. Из-за этой ошибки я потом и узнала, кто такая Сильвер на самом деле.

Я уже почти вынула из кармана измятую карту, когда вдруг поняла, что мне хочется просто исследовать остров.

Анж окликнула меня.

А потом Сильвер. Когда я увидела, что она заметила, что я иду за ней, я повернула в другую сторону.

В одиночестве я добралась до леса, который только что видела.

## **СЕРЕБРИСТЫЕ ВОЛОСЫ СИЛЬВЕР**

Я увидела змей. Не знаю, что это были за змеи. Просто разные змеи. Они сидели на мелких камушках и грелись на солнце.

Одна змея подняла голову, посмотрела на меня и издала звук, похожий на шуршание волчка, когда он крутится. Похожий, но не совсем такой. Все здешние звуки были какими-то странными и незнакомыми.

Я хотела поговорить со змеями, но вдруг увидела болото, совсем рядом.

Оно было желтым, болото, и, казалось, утопленным в твердой земле, и в то же время оно словно росло на песке, как ежевика на стероидах.

За этой топью было еще одно озерцо вонючей, стоячей воды. Я поняла: эти болота — улицы в каком-то нечеловеческом городе. Я прошла через это болото, потом — через следующее, пока мои туфли совсем не размокли. Мои разлапистые следы напоминали теперь следы снежного человека.

Природа уже преображала меня.

Потом я выбралась на участок сухого песка, присела и сняла мокрые туфли. Теперь, когда я пойду дальше, я испачкаю ноги в тине и они станут грязными и вонючими. Может быть, даже раздеру их в кровь о колючки и камни. Солнце на небе было как перзрелый плод. Вокруг жутко воняло. Какая-то птица, — наверное, утка или дикая утка — не знаю, в чем разница, — вылетела из камыша у меня за спиной. В небе кричали чайки, сбившись в плотную стаю.

И сквозь птичьи крики, смысла которых я не понимала, потому что не знала языка чаек, пробились человеческие голоса — в первый раз с той поры, как я осталась совсем одна.

— Может быть, ты способна любить только одну девчонку, так чтобы отдать ей всю себя — слепо, безоговорочно. Я готова на все, лишь бы кто-то любил меня так. Ради такой любви можно и умереть. Я знаю, ты меня не любишь. И тебе на меня наплевать. Но я-то люблю тебя, очень люблю, и я знаю, что ты это знаешь. Просто такой у тебя подход к людям: если тебе для чего-нибудь нужно убить человека — кого-то из нас, — ты убьешь, не задумываясь.

— Да, я такая.

— Но я все равно тебя люблю, и ты это знаешь. А я знаю, что ты меня не любишь. Моя мама меня не любила, а я ее очень любила, очень. — Теперь я узнала голос. Это была Златовласка, самая красивая девочка из команды. Мы называли ее *Святой Девой*, потому что ее изнасиловал отец. — И поэтому я сейчас сделаю, что должна сделать. Потому что мне надо подумать и о себе...

— И что ты пытаешься на меня навесить? — чем холодней и спокойней звучал голос Сильвер, тем сильнее она злилась.

— Ты ошиблась, Сильвер, и насчет Дрянной Собаки, и насчет этих двух девочек.

— Я делаю, что должна делать, — ответила Сильвер. — Для себя и для всех пиратов.

— Я собираюсь тебе помешать, Сильвер. Я не буду участвовать в твоих кровожадных планах. Я не хочу никого убивать, даже ради сокровищ, а когда мы вернемся в город, я расскажу властям обо всем, что ты сделала.

— Если ты собираешься это сделать, тогда мой тебе добрый совет: побереги свою память, потому что без головы нет и памяти.

— Думаешь, я тебя боюсь? — девочка с волосами, как солнце, подобрала с земли камень и кинула в Сильвер.

Сильвер, которая знала, как надо швыряться камнями, тоже подобрала камень — самый большой, — и запустила им в голову Златовласки.

Из алой пробоины хлынула кровь. Я видела, что было дальше: когда Златовласка упала, Сильвер запрыгнула на нее, а потом слезла и убежала, и лицо у нее было странное. Очень странное.

У меня было чувство, что все это я уже видела раньше. Только теперь я все видела по-настоящему:

Лицо, чьи черты еще не различимы для взгляда. И все ветры мира развевают ее серебристые волосы.

Я только не знала, как надо видеть то, что я видела.

Я искала глазами девочку с золотистыми волосами, но ее нигде не было.

# Выдержки из пиратских

## хроник

В пересказе козо-мо из Волкогазов МД

### **КОРАБЛЬ УТОНУЛ**

Поскольку цель этих хроник — донести до потомков и до тех, кто придет после потомков, историю девчонок-пиратов, я не стану говорить о себе. Ибо я всего-навсего скромный рассказчик, которому выпала честь записать эти хроники.

Достаточно будет сказать, что семейство мое происходит из рода древнего и благородного.

Ибо далекие мои предки присутствовали при рождении мира и видели, как все начиналось. И если мир начинался с начала, он должен был начинаться в разъеме, у которого было двойное имя. Было и есть: *жизнь/смерть*. И мои прародители были там. В те мгновение. Потому что Геката носила тогда три имени, *Вечность, Жизнь и Смерть*, и у нее было три головы: львиная, лошадиная и песья.

Девчонки-пираты утверждают, что человек определяет Бога. И поэтому древние греки, то есть, люди, которым до смерти надоели жрицы и ворожей-гадалки, державшие под контролем судьбу и будущее, превратили Гекату в *Смерть*. С той поры к Гекате стали

взывать только при исполнении тайных обрядов той магии, которую местные политиканы теперь называли *черной*. И в то же самое время меня — или моих давних предков, — низвели до уровня самых обыкновенных собак.

Но я все равно не утратил свой дар: исполнять желания. Заветные желания любой человеческой женщины. Достаточно будет сказать, что, подобно девчонкам-пиратам, я ебу все, что движется.

— я вдруг заметил, что опять говорю о себе.

— *истерзанный изнутри всем, что есть нестерпимого в этом мире, и тем и горжусь* — вот он мой стиль изложения

— я больше не буду говорить о себе

— скажу только, что я всегда оставался верен МД, и всегда буду ей верен, как она — мне. Она и мой брат.

— так мы пришли в новый мир

— Когда Сильвер, Дева и Та-У-Которой-Карта — как мы втайне ее называли — сошли на берег, все остальные, мы все, — хотя кое-кто даже и не заметил, что мы причалили к берегу, — продолжали заниматься своими делами.

Но мы заметили, что там плохо пахло.

Киска облизала губы и сказала, что это воняет всядохлая рыба, что есть в округе.

Остракизм вынула пальцы из Киски и сказала, что пойдет посмотреть. Она быстро вернулась и сообщила, что здесь все заваленодохлой рыбой.

Киска как раз собралась пообедать.

— Меня блевать тянет от этой вони, — сказала Морган, или Гнилой Поцелуй. Ее лицо, изначально зеленое, стало еще зеленее и одновременно — еще бледнее, и Морган решила, что лучше ей отрубиться сразу, чтобы долго не мучиться.

Не только Морган, но и всем пиратам, хотелось вернуться в «Плешивую черепушку», истинный дом для поганых девчонок, где мир был уютным. Где на окнах висели изысканные гардины из красного бархата, надежно скрывая все, что снаружи. И не важно, какая

снаружи была погода, и сколько там было времени. Им хотелось вернуться туда, где не было ни пособий по болезни, ни классовых различий, ни других прелестей цивилизации, которые могли взбудоражить их спокойное существование. Где посредством своих оргазмов они прикасались к фантазии мира.

— Паб «Плешивая черепушка», — сказала Киска, главная выдумщица и сновидица, — дом для тех, у кого нет дома. Никогда и нигде. Дом для тех, кому он и не нужен.

Не слушая своего капитана — что, вообще-то, обычное дело, — эти дрянные девчонки тихонько шептали себе под нос матерные слова. По-настоящему грязные. И особенно грязными были слова без смысла.

И только самые лютые из пиратов — те, что, когда у них были волосы на голове, вырывали их клоками и демонстрировали окружающим, — Антигона и Киска, матерились вслух.

Воняло и вправду ужасно. Воняло так, что даже моллюски в грязной воде и дохлые рыбы, чьи рты все равно судорожно раскрывались и закрывались, видели эту плотную стену зловония.

Со ртами, разинутыми между ног.

Но большинство из пиратов по-прежнему ничего не замечали.

— Пойду посмотрю. — Антигона, одержимая любопытством, нырнула в мутную жижу. И ударилась головой о дно, потому что там было мелко. Всего фута три. Сидя среди дохлых рыб с их разваленными дохлыми ртами, она первой из пиратов сообразила, что корабль никуда не идет.

Теперь капитан Киска заговорила о кораблекрушениях, но никто из пиратов ее не слушал, потому что они дрались друг с другом. Все пропиталось водой — водой, оскверненной илистой мутью и тухлыми рыбьими головами с открытыми ртами, как будто сокровища были спрятаны там, внутри. Водой, смешанной с воздухом и землей. Киска хотела пнуть МД, но море схватило ее за ноги. Половина палубы скрылась под водой. Киска и Остракизм, сплетясь телами, даже не замечали, что они лежат в жидкой грязи. Антигона протерла глаза кулаками, но лишь затащила туда еще больше грязи. С ошметками морских звезд. Когда она попыталась взглянуть на мир сквозь пелену липкого ила, застывшую ей глаза, мир стал другим.

Как будто конец и начало мира — это одно и то же.

Драчуны разбушевались всерьез. Капли воды, грязи, а потом и крови, висели в воздухе мутной взвесью. Помятые груди, изорванное в клочья мясо на правом плече, ссадины и синяки, что постепенно обретали цвет плоти, уже принявшей смерть. Дурное пойло, которым девчонки налились еще с утра, смягчало боль от ударов, но не спасало от ядовитых царапин.

Потому что корабль тонул. Его деревянные пальцы тянулись вверх и цеплялись за небо, наполняя его страшным смрадом.

Так девчонки отправились в гости к мертвым пиратам, что жили на дне, под водой.

Анж незаметно сошла на берег и побежала туда, куда ушла ее подруга.

Король Киска оборвала свою речь, которую она пыталась произнести уже очень давно, и пробормотала:

— В первый раз я теряю корабль.

Она в первый раз была на корабле.

Наконец, Киска вгрызлась в дохлую рыбину.

Девчонки-пираты в полном изнеможении повалились на землю. В мир сплошной грязи.

## **ОТРЕЧЕНИЕ КОРОЛЯ И КОНЕЦ ЦАРСТВИЯ КИСКИ**

Король Киска рассказала девчонкам, валявшимся в грязной воде, что сейчас происходит с ними, со всеми. В ее снах. Потому что Киске уже не нужно было спать, чтобы видеть сны.

— Сейчас мы сдаем анализы на СПИД.

Вот как все происходит: тебе протыкают иглой позвоночник, внизу, и вводят туда — хотя, на самом деле, высасывают оттуда — какую-то вязкую желтую жидкость, чуть подкрашенную кровью.

Иными словами: яичный желток.

Теперь Киска предсказывала им будущее:

— Половина из тех, кто лежит на высоких больничных койках — мужчины. У них тоже берут анализ.

Я лишь наблюдаю, хотя, по идее, я тоже должна лежать там и сдавать анализ. Но, похоже, что это болезненная процедура, и я спрашиваю одного из парней: «Это больно?»

И он отвечает: «Да».

Киска всегда говорит загадками.

— Я знаю, что я, единственная из всех, кто там есть, отказалась сдавать анализ. Потому что я не хочу ничего знать.

Все анализы — отрицательные.

Вздыхнув с облегчением, МД принялась вновь целоваться враскоряку с моим братом, который только что скушал крысу — еще живую.

— И я ушла с лаборанткой, — продолжала Киска. — Или, может быть с лаборантом. Я не помню, кто это был: женщина или мужчина. — Теперь все пираты слушали своего капитана. Как замороженные. И их совсем не смущало, что они сидят в грязной жиже, а на ресницах у них дрожат ошметки дохлых медуз.

— Мы вышли на улицу в каком-то унылом и мрачном пригороде. Мы углубились в поля, бурые с серым, и там он/а обследовал/а меня — с помощью каких-то черных коробочек, похожих на счетчики Гейгера, — на все основные болезни, кроме СПИДА.

У меня обнаружилось три болезни. Я знала, что это правда, потому что я видела, как дрожат эти иглы в круглых стеклянных окнах у зараженных. Кто заражен хоть чуть-чуть... тот все равно заражен.

Я была очень серьезно больна.

Как такое могло случиться? Мне было страшно об этом задумываться, и поэтому я обратилась к ней, к лаборантке — или к нему, к лаборанту, — уже в полном отчаянии.

— «Причины могут быть самые разные. Например, у вас может быть СПИД. И, скорее всего, так и есть. Судя по вашим болезням, которые, тем более, проявляются одновременно»...

— Теперь мне стало по-настоящему страшно. Он/а взял/а у меня анализ на СПИД. Анализ был положительным.

Так скверно мне не было никогда в жизни.

Я думала, что хуже уже не бывает. Но вскоре выяснилось, что бывает:

Я оказалась в каком-то доме, наподобие двухэтажной нью-йоркской квартиры, чем-то похожем на «Плешивую черепушку». Я была не одна, а с друзьями, половину из которых вообще не знала. Какой-то мужчина — я его видела в первый раз в жизни, устроил там, в комнате, настоящий пожар.

Потому что ему только что сообщили, что у него СПИД.

Прогоревший пол провалился, и мы все упали на землю. Снаружи. Восемь заводных кукол, механических женщин в военной форме, ростом со взрослого человека, двинулись прямо на нас, в два ряда. Раз-два, раз-два — четким строевым шагом. Наверное, кто-то их запустил. Кто-то, кто хочет нас уничтожить. Потому что они надвигались на нас с явным намерением истребить всех — надвигались целеустремленно и неотвратно. А с неба летел пламенеющий реактивный снаряд. Летел, опять же, на нас. Снаряды рвались повсюду! В воздухе! Прямо над нами! Повсюду вокруг простиралась война, и все было усыпано оторванными человеческими конечностями!

Наверное, мне все-таки удалось обмануть ту войну, потому что я вдруг оказалась в какой-то бакалейной лавке. Мария, ты тоже была там со мной. В бакалейной лавке. — Мы называли Марию *Черным Монахом*, потому что она была чистой и сладкой, как эти святые мужи, давшие обет безбрачия. — Только ты пряталась под прилавком, где касса, и тебя было не видно.

Да, и в жизни Мария вела себя точно так же. Потому что не хотела соприкоснуться с человеческим миром.

Там были длинные полки, заставленные едой. А ты пряталась потому, что у тебя не было денег купить продукты, и тебе приходилось их красть.

— Я не признаю Несвободы, — объявила Черная Мария.

— А когда я спросила, что мне тебе купить, потому что даже во сне ты мне очень нравилась, и еще потому, что я видела, какая ты худенькая и бездомная, ты показала на упаковки с порошковым молоком. "Карнейшн".

Ты сказала: «Я хочу белого риса, а не порошкового молока. Но у меня нету денег».

Я поняла, что между этими двумя фразами существует какая-то причинно-следственная связь. Я только не поняла, какая.

«Ты украдешь ради меня?»

И с тех пор мы всегда были вместе. В этом сне ты была очень красивой, и хотела покончить с собой, и я никак не могла понять, как можно быть такой красивой и не хотеть жить.

Теперь все утратило смысл.

Пока я не узнала, что у всех, кто сдавали анализы, был СПИД; что это — происки американской армии, которая активировала механических женщин. Они хотят уничтожить нас всех.

С этой минуты Киска заговорила о себе. Это сам сон говорил сквозь нее:

— После этой войны мир изменился.

Теперь все мои сны были о кошках.

Все объясняется просто: эти девчонки — не алкоголички. Они — фантазерки, выдумщицы и поэты.

— Сначала была война, а потом — кошка. У кошки были хозяева, мужчина и женщина. Муж и жена, оба — поэты-авангардисты.

У кошки была своя комната. Она жила в ванной.

А у меня была спальня, как раз перед домом.

Мы с кошкой ехали в поезде. Раньше она всегда меня сторонилась, но теперь почему-то разоткровенничалась.

Я рассказала той женщине, которую звали К, что мы с ее кошкой очень сдружились.

Когда Генри Дж., лондонский психиатр, представил меня участникам симпозиума, она сказала, пока я стояла на виду у всех: «Ты будешь импровизировать на тему *кошек*».

«Пожалуйста, дайте мне пять минут. Мне надо придумать, что говорить».

Я подошла к кафедре высотой в человеческий рост. Чем больше она становилась, тем меньше — я. Я себя чувствовала Алисой в Стране чудес, потому что это возвышение было всего лишь картонной коробкой, накрытой такой же коробкой, но в три раза больше. Но я придумала, как с этим справиться: я унесла коробки. И увидела, что зрители отодвинулись дальше.

Я начала с описания кошки К. Мне показалось, что это вполне логично. Но меня никто не слушал: зрители в зале смеялись и болтали друг с другом.

Какие-то люди зловещего вида стояли в дверях, что вели наружу.

Почти половина из них были снаружи.

Когда я снова заговорила, в зале уже никого не осталось.

Король Киска только что объявила, что она была плохим капитаном. И она больше не будет командовать на корабле.

Моя речь не стоила ничего, потому что теперь вместо зрителей в зале были какие-то школьницы, человек семьдесят пять, может, чуть больше. Они сидели, как их научили, на раскладных стульях, в три ряда.

Все эти девочки были из очень приличных семей.

Я уже не могла ничего сделать правильно, и поэтому я решила, что мир стал пустотой.

А потом я увидела, что лекционный зал — это церковь. Такая маленькая церквушка.

Там стояли скамьи с высокими спинками. На скамьях сидели бездомные — обсуждали свои дела. Вот так все и бывает на самом деле, подумала я. А эта претенциозная, возвышенная культура, к которой принадлежала и я — это все ненастоящее.

Собрание бездомных закончилось.

Я вышла из церкви, и там была К.

Я хотела пойти в панковский бар, но панковских баров давно уже не было, тем более что К, позтесса, хотела пойти в бар для хороших пай-девочек.

Так что мы с ней расстались.

Когда Киска закончила свою речь, девчонки заметно развеселились, потому что решили, что она говорила о сокровищах. Вполне очевидно, что они наберут столько сокровищ, сколько не видели за всю жизнь. Они станут купаться в золоте и серебре, и делать, что хочется, и плевать на весь мир, если им будет не лень.

Они больше не злились. Они громко кричали «ура!» своему капитану Киске, и их голоса разносились эхом по далеким холмам. Чайки испуганно взвились в воздух и вновь закружились над тонущим кораблем.

Пираты бросились бежать к земле, но вязкая грязь не пускала их к берегу. Грязь и дохлые рыбы с раскрытыми ртами. Они продвигались вперед, кто как мог: кто — на карачках, кто — загребая руками, — пока не добрались до узенького ручья. До начала земли, что хранила сокровища.

# ПРЕДСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

История О, окончание

## ПРЕВРАЩЕНИЕ В КРЫСУ

Я бежала, бежала.

Увязая в земле. Как будто земля раскрывалась трясиной. Ее поверхность была возбужденной — я это видела, — такой возбужденной, что дно раскрывалось, и грязь расходилась слоями, грязь от грязи, земля под землей.

Там была топь.

Под ногами — сплошная грязь. Слитки бурой жирной грязи. Можно было подумать, что это золото. Но это было не золото. Я знала наверняка.

Просто засохшая грязь.

Грязь, или проще сказать, дерьмо — повсюду. Комья грязи — на крыльях упавших птиц. На краю пропасти, листья травы, острые, словно крошечные сабли, шелестели под солнцем. И легкий ветер — повсюду.

А за болотами не было ничего, кроме времени, чтобы земля тоже могла отдохнуть. Там, где время, уже появились деревья. А на

верхушках деревьев прятались нарушители, незаконно вторгшиеся в эти владения.

Земля раскрылась.

А дальше опять начинались болота, потому что я тихо вошла в неподвижную заводь. В один из этих прудов посреди деревьев. Вода была, словно воздух: серебряная. А потом вода, где я стояла, вдруг пошла рябью. Что-то ее взбудоражило из глубины, где были коряги и рыбные дрожжи, что получают из перебродившего мяса издохших рыб и рыбьего дерьма. Пахло гнилью — там действительно все прогнило. Было жарко, потому что жар — это оргазм. Все колыхалось, болело и пахло, и это был сильный, насыщенный запах, что разворачивался в пространстве, все дальше и дальше: запах пса, изваявшегося в грязи.

Пес вгрызался зубами в грязь, которая была мясом.

Я вгрызалась зубами в мир, или, быть может, мир вгрызался в меня.

Или каждый вгрызался в себя самого.

Деревья были высокими и прямыми, потому что весь этот мир был — сплошные бревна. Бревна катились по всей реальности: толкали, сбивали и засыпали друг друга. Бревна накатывали, как волны. И с каждой такой волной начиналось время. И возникало новое пространство. Каждое время-волна-бревно набегало на берег реальности и исчезало.

Вновь и вновь.

У меня внутри словно все оборвалось, сердце бешено заколотилось в груди, потому что мне показалось, что я что-то слышу. В этом мире, где я одна. Где, как мне казалось, людей нет вообще. Станный звук, не похожий на ветер, прошуршал в камышах. Может быть, птица взмахнула крылом. Или погибший корабль задел килем камни небесной тверди.

Сперва я подумала, что это крысы.

Я стояла на краешке маленького холма. Он, наверное, был еще очень молодым, потому что его голое тельце только-только покрылось пушком. Я подумала, он дрожит, потому что я к нему прикоснулась, но потом поняла, что это камушки падают вниз со склона, сквозь эту мягонькую щетинку.

Что-то, похожее на человека, скрылась за деревом.

Наверное, опоссум. Или гигантская крыса. Мне так показалось. Запахи были повсюду. Но уже не такие насыщенные, как в ботах. Где начинались деревья.

Иногда мне бывает по-настоящему страшно, хотя, вообще-то, я очень храбрая.

Я не знала, что это было: сон или явь, человек или зверь, так что я остановилась.

У меня за спиной, со скидкой на пространство и время, стояла Сильвер, которая собиралась меня убить. Прямо передо мной, опять же, с учетом пространства и времени, было... я даже не знаю, что. Прямо передо мной — моя неспособность знать.

Я думала, что уже никогда не вернусь к Сильвер, но мне все же пришлось вернуться. Из двух опасностей я всегда выбираю ту, которую знаю. А я знала, как справиться с сексуальностью Сильвер и с ее злобой.

То есть, мне так казалось.

Потому что на самом деле я вообще ничего не знала про ее сексуальность и злобу.

Я развернулась и зашагала обратно к лодке, то и дело оглядываясь через плечо.

Как только я развернулась, странная фигура выбралась из-за дерева и рванулась в обход, «кругалём», с явным намерением отрезать меня от берега. Напряжение и страх измотали меня вконец, но даже если бы я сейчас проснулась, я все равно не сумела бы выстоять против такого противника.

Потому что он передвигался на двух ногах, как человек, но это был не человек. Ничего даже похожего.

Скоро станет совсем ничего не видно. Потому что солнце уже садилось, а в небе начали собираться звезды. Звезды плакали в вышине, поверяя друг другу свои печали.

Мне было страшно.

Я знала, что это страх, потому что раньше меня совершенно не волновало, живая я или мертвая.

Я сказала:

— Я, которая была мертвой так долго: я не знаю, что делать, не знаю, как жить, и не знаю, кто я.

Передо мною стояла девчонка. Девчонка, похожая на крысу. Волосы падали ей на лицо, и лица было не видно.

Она топталась на месте, переминаясь с ноги на ногу, как будто ей хотелось в туалет, а потом вдруг упала к моим ногам.

Это была Анж. Она вся заросла грязью. Я в жизни не видела такой грязной девчонки, по сравнению с ней даже Сильвер казалась опрятной чистюлей. Кусок рваного паруса, обмотанный у нее между ног, сползал на бедро, словно сбившаяся прокладка. А в остальном она превратилась в крысу.

— Что с тобой? Что случилось?

— Мне было так одиноко.

И вот тогда-то я и поняла, что я тоже крыса, что мы с ней обе — крысы, как и все остальные девчонки-пираты, и что мы стали такими не просто так: такими нас сделало все, через что мы прошли.

Преображение металлов.

И я вцепилась в нее, и уже не отпускала, и окружающий мир исчез, и там уже не было никаких крыс.

— Анж, — прошептала я. — Анж.

Но ее не было рядом, и некому было ответить на зов, и я вновь и вновь повторяла ее имя. Долго-долго.

Может, когда-нибудь в будущем, я привыкну к этому новому миру.

— Анж. Анж.

Здесь все двигалось и колыхалось, то есть, все было живое. И было очень тепло. И мы все кружились на месте: и я, и все остальное, и теплый воздух. Мне больше не было страшно, Только немного тревожно. Мне казалось, что это опасное место, потому что здесь не было необходимости доводить все до конца.

— Хочешь остановиться, Анж?

— Нет.

Мир был пространством, где все зеленело и цвело, на самой вершине холма, и на склоне, спускавшемся вниз.

Где разошлись две тропинки.

Там были звери и мягкий пушистый мох.

— А вот и ночи, — сказала я Анж. Они нахлынули, как вода; рыцари с копьями наперевес. Вода залила все пространство, весь мир. Твердой земли больше не было.

Повсюду — одни океаны. Волны на поверхности вод складывались в узоры. В узоры из пены. Пена сделала воду видимой.

Мир обратился в сплошной непрерывный восторг.

Все в мире промокло, все напиталось водой. Все прогнило от сырости. Теперь этот мир уже никогда не прекратится. Потому что те две дорожки, что появились в самом начале мира, теперь снова соприкоснулись. Две дорожки, каждая из которых расщеплена надвое. Сгорая в огне. Переплетаясь друг с другом. Они по-прежнему были чрезвычайно грязными и очень пахучими.

Запахи, что омрачали цвета, вызвали прилив вод.

Я взглянула на Анж. Ее волосы стояли торчком. Все ее лицо заросло волосами, крысиной шерстью: бурой, очень густой и жесткой, — так что теперь ее уже ни за что не пригладишь, — а зеленые глаза стали красными. И эти красные дырочки открывались и закрывались, теперь она вся раскрывалась, прижавшись к моей левой ноге, а равнины тянулись-тянулись, все такие же желтые, но с вкраплениями бурой травы, вон там.

Как будто все стало поверхностью, а поверхность была ковром, и одна линия на этом ковре или, может быть, под ковром поднялась, как змея.

Земля лежала слоями: земля под землей.

*Под натянутой оболочкой земли билась змея* было вполне равнозначно *под оргазмом — река*. Каждый раз, когда змея тыкалась носом в эту мембрану — потому что не могла прорвать пленку, ведь это был самый верх, — равнины сотрясались в оргазме.

Солнце жгло немилосердно, так что теперь кончики всех травинок сделались красными.

Я ей сказала, что она — крыса, так я объяснила ей, что теперь она никогда от меня не уйдет.

— Если мы крысы, — пробормотала она вместо того, чтобы убить в память о девчонках-пиратах, — давай и вести себя, как крысы.

— Тогда нам надо есть все, что мы сможем вынюхать.

Мы решили, что это будет достойная линия поведения.

Анж сказала, что там, наверное, есть чего вынюхать: там, где обломки погибшего корабля, в *месте изгнания*.

Я не понимала, о чем говорит эта крыса.

— Корабль разбился, и эти девчонки меня прогнали. Отправили в ссылку.

— Это все потому, что ты крыса.

Мы решили, что нам не хочется там оставаться, нам вообще не хотелось нигде оставаться, так что мы с тем же успехом могли бы пробиться сквозь этот вонючее-отстойное-спутанное-в-клубок-зас-ранное-и-замусоренное-что-бы-там-ни-было, что называют *приро-дой*, потому что на той стороне мы, может быть, и найдем что-то такое, что нам поможет, хотя вся эта так называемая природа каза-лась мне более опустошенной, чем город, сожженный дотла, печаль-ный остаток человеческой цивилизации.

Мы с Анж решили, что крысы живут в городах, потому что они очень умные звери.

Солнце уже поднималось, а значит, оно было смертным — как мы. И вот тогда-то я и поняла, что нас окружают мертвые пираты. Они были везде.

Мы пробрались на карачках сквозь сгусток природы, гнилой по своей природе, потому что природе свойственно гнить. Это ее естественное состояние: деревьев, диких цветов, сорных трав, камней, мертвых ящериц и детства, которого не было у нас с Анж, но которое у нас обязательно будет, потому что мы так хотим, и чер-вей, раздавленных этими жуткими крабами, замаскированными марсианами, не иначе, или, может быть, даже не замаскированны-ми, а так — в своем настоящем обличье. И мертвых компьютерных деталей.

Мы огибали пруды, иногда забирались в воду, потому что Анж захотелось узнать, что ты чувствуешь, когда окунаешься в мочу. Сперва я решительно отказалась, потому что подумала, что это бу-дет кошмарно и мерзко, но вода пахла даже приятно, как будто я снова была в безопасности, как это бывает, когда вся намажешься грязью; я себя чувствовала защищенной и поэтому вспомнила, что никогда в жизни не чувствовала себя так — а значит, я никогда не была защищенной.

Мы ничего не нашли, так что эта природа была еще бесполез-ней, чем разрушенный мертвый город — для двух девчонок, кото-рые прошли через все. На карачках.

Вот что я чувствовала тогда.

Мы пришли к птичьим крикам — как приходишь к чему-то ве-щественному. И к кусочкам птичьего помета. Анж сказала, что хо-чет кушать.

— От тебя и так уже пахнет не слишком приятно, — сказала я.

Хищные птицы кружились над нами: может быть, ждали, когда мы умрем, чтобы тоже покушать. И тут рука Анж провалилась в какую-то жижу.

Она ткнула этой рукой мне в лицо, и я ей сказала: не надо, меня сейчас точно стошнит, — вот только запах блевотины был еще более мерзким, чем запах ее руки. Меня опять замутило.

— Нужно многое выстрадать и пережить запредельную мерзость, если хочешь дойти до источника снов, — сказала я Анж. — Сейчас мы будем тебя купать.

Мы забрались в крошечный пруд или, может, в большую лужу, и только потом огляделись по сторонам. Оказалось, что мы забрели на кладбище.

Это не могло быть пиратское кладбище, потому что пиратов хоронят в море, чтобы они могли видеть сны. Это было крысиное кладбище.

На каждом надгробии сидела птица. Большинство этих надгробий было из дерева — просто из веток и палочек.

В этом прибежище смерти все было пронизано святостью. Даже больше, чем в церкви. Хотя ни я, ни Анж ни разу в жизни не были в церкви. Одно из этих надгробий, наверное, только что испытало некое подобие сексуального удовольствия, потому что оно все еще источало жидкость, в которой мы мылись.

Мы задумались обо всех мертвых крысах. О том, что люди боятся крыс, потому что больше всего на свете люди боятся большого ума. О том, как люди, перепуганные до безумия, собрали весь ум, который только смогли загрести, и упрятали его в исправительный дом под названием *факты*, в то время как крысы едят все подряд независимо от того, голодны они или нет. Крысы: удовольствие превит их миром.

Вот почему мы с Анж решили, что лучше быть крысами.

И Анж первая высказала это вслух.

Я просила: стало быть, удовольствие и крыса — это одно и то же?

Она сказала, что сможет ответить, как только полностью станет крысой.

Все это было как-то связано с сокровищами.

Наш пруд — или лужа — располагался в самом центре кладбища. В этой стране мертвых нам уже встретились мертвые бабочки

и песьи зубы, но я пока не могла придумать, как использовать эту природу для наших целей, потому что все здесь погибало, если уже не погибло, так что мы с Анж решили, что надо ползти дальше.

Но пока мы сидели там, посреди природы, я рассказала Анж про того парня, которого звали Орфей, и у него была девушка, только нам неизвестно, была ли она поэтом, потому что она была девочкой.

— Но зато сам Орфей, или О, или Ор, был самым известным поэтом за всю историю человечества, по крайней мере, за всю историю Древней Греции, которая все равно уже очень скоро забудется, и эта история включает в себя и подругу Орфея, хотя мы не знаем, кем она была.

Но мы знаем, сказала я, что Орфей спустился за ней в царство мертвых. Вот на этом самом кладбище.

— В то время на кладбище был король. И король был крысой.

«Да, Орфей, — сказал король Крыса, — можешь забрать свою дорогую подругу обратно, и целовать ее во все места, и быть с ней и дальше. Тебе всего-то и нужно, что выйти отсюда, из этого мертвого места».

«Да, — ответил Орфей, — мне бы очень хотелось поскорее отсюда уйти, с этого прогнившего кладбища».

«Ну, так иди. Только не оглядывайся назад».

«А как же моя Эвридика?» Да, я вспомнила. Подругу Орфея звали Эвридика.

— У меня тоже есть дорогая подруга, — пробормотала Анж, и придвинулась ближе, и взобралась на меня, и довела меня до оргазма — несколько раз подряд.

— Крысиный король сказал: «Она пойдет следом. У тебя за спиной, так что тебе ее будет не видно».

Мы с Анж опять поползли вперед.

— Орфей, разумеется, не удержался и оглянулся, как будто это он вышел из царства мертвых живым, как будто его пребывание в царстве мертвых не изменило его, как будто он так и остался прежним — тем человеком, которым он себя помнил. Не послушавшись Смерти, или *Подлинной Личности*, он потерял Эвридику.

Анж повернулась ко мне лицом.

— Он потерял Эвридику из-за собственного невежества: он не знал, кто она — как не знаем и мы.

Она опять отвернулась и теперь, глядя на эту послекладбищенскую территорию, увидела то, что я видела уже давно.

Сильвер была совсем рядом.

Ночь, должно быть, уже прошла. Это было самое холодное утро из всех, что я знала в жизни.

Деревья поднимали головы, словно псы, которые забыли о том, что их только что наказали. Низкое солнце замерзло в лед.

Там, где стояла Сильвер, от земли поднимался туман. Ее ноги были расставлены широко-широко, как будто она мочилась стоя. В ее серебряных волосах сидела ящерка. А потом я не видела уже ничего, кроме собственных губ, прижатых к губам этого бледного белого зверя...

— Ты что, может быть, все-таки поговорим? — ее сиреневые глаза, этой девочки с грязными волосами, смотрели на меня в упор. И еще желтые, красные — глаза всех зверей, что жили у нее в волосах.

Анж принялась бормотать, что эта дрянная девчонка, с которой мы подружились, или которая подружилась с нами, она пират и убийца, и ее надо повесить и в то же время казнить на электрическом стуле, и поэтому я сказала как можно громче:

— Я знаю, что ты и твои девчонки замышляли недоброе против нас.

— Ну...

— Я знаю, ты хочешь меня убить, — я смотрела в самую глубь этих сиреневых с черным пространств.

— Есть такое дело, — сказала она совершенно бесстрастно, как будто в ее мире не было вообще никаких чувств.

Но даже теперь я знаю, что солнце — это ящерица.

— Но тут, понимаешь, какое дело, — она принялась ковыряться в носу заскорузлым пальцем, — нам с девчонками как-то вдруг захотелось сокровищ, и они будут наши. И ты ничего здесь не сделаешь, хоть костью ляг, а чтобы лечь костью, надо сперва умереть. Но прежде, чем ты умрешь, ты для нас кое-что сделаешь. Потому что нам этого хочется.

— И чего же вам хочется? — спросила Анж, вся — зеленоглазое любопытство. Анж была храбрее меня.

— Ты дашь нам карту! Оригинал, обогранный пиратской кровью! — Она еще шире расставила ноги, и в то же самое время,

ящерица, до этого почти полностью скрытая в волосах, высунулась наружу и вывалила язык, такой длинный, что при желании могла облизать собственные глаза.

— Нам нужна эта карта, — закричала Сильвер. — Лично я — пойми меня правильно, О — лично я никогда бы не сделала тебе больно, так что мне наплевать, что с тобой будет. И мне наплевать, убьют тебя или нет. Главное, чтобы мы получили, чего хотим.

Вот так я и вспомнила, что карта острова сокровищ по-прежнему у меня.

— А, по-моему, умереть должна ты, — сказала Анж Сильвер. — А всех твоих девочек надо казнить на электрическом стуле, потому что, как говорит мой иглотерапевт, это самый болезненный способ умерщвления человека. Пока вы еще живы, ваша плоть превратится в искромсанных корчащихся червей, потому что карта с сокровищами — она наша.

Сильвер развернулась и пошла прочь — в точности, как Орфей.

И в точности, как этот обезглавленный поэт — хотя тогда он еще носил голову на плечах, — она обернулась. Ко мне. К Эвридике. Как будто я была мертвой. Как будто я была мертвой для этого мира, и поэтому мир, теперь тоже мертвый, начался заново в виде солнца. В виде всех сокровищ, спрятанных на солнце.

— Я расскажу тебе, О, что я сделаю. Слушай внимательно.

Мои уши были, как красные розы.

— Ты подойдешь сюда и потихоньку положишь карту туда, где я храню все свои сокровища, а я дам тебе право выбора. Когда мы погрузим сокровища на корабль, ты можешь подняться на борт вместе с нами и сделаться одной из нас, до конца этой жизни и всех твоих жизней, что будут потом, и ты, прошмандовка, узнаешь, что это такое, когда у тебя постоянно мокро и ты вся истекаешь ветрами мира. Ветры не остановишь, правильно? Подумай обо всех ароматах и запахах, что приносят ветры. Ты никогда в жизни такого не чувствовала, разве нет? Запаха своего тела — да, девочка? Ты его никогда не чувствовала.

Пауза.

— Или ты можешь выбрать смерть.

Пауза.

— Лучшего предложения тебе не сделают никогда в жизни.

Пауза.

— Но, по любому, сокровища наши.

— А теперь ты послушай меня, Сильвер. Шла бы ты на хуй. Собственно, это все, что я хотела тебе сказать. Ты мне уже не нужна, ты со своей заскоруждой, гнилой пиздой. Я вообще забыла про эту карту, пока ты не стала нам угрожать, нам с Анж. Мы с Анж отыщем сокровища, и они будут наши, и только наши. Вот так-то.

— Помимо прочего, нас с нею связывает убийство.

В волосах у Сильвер копошились самые разные зверюшки. Она вынула штопор, и белая ящерка убежала прочь. Сильвер пробормотала:

— Тогда живые позавидуют мертвым.

С тем она и ушла, а мы с Анж уставились друг на друга.

— Выходит, мы круче пиратов, — сказала зеленоглазая девочка, дрожа мелкой дрожью.

— Мне страшно.

## **ИГРУШЕЧНЫЙ ДОМИК**

На самом деле нам обеим было страшно и поэтому мы остались на месте и принялись высматривать себе дом, где могли бы поиграть в настоящий дом, потому что мы знали, что ему никогда не стать для нас настоящим.

Анж сказала, что нам надо проверить, сколько у нас денег; чтобы знать, что мы можем себе позволить. Цены на жилье выросли повсеместно — из-за распада правительства. И Анж не хотелось рисковать, как мы всегда рисковали раньше.

Мы искали, искали, но ничего не нашли. Лишнее подтверждение тому, что ничто не меняется в этом мире, и что историю человеческого прогресса выдумали сами люди.

Но Анж продолжала настаивать, что нам надо где-нибудь жить — если мы не хотим стать пиратами и убивать непиратов.

И мы опять поползли сквозь природу.

В дурном настроении, мы пробирались вперед сквозь пустые осиные гнезда и розовые лепестки. Я все время чихала, потому что у меня аллергия на все естественное, в том числе — и на мир.

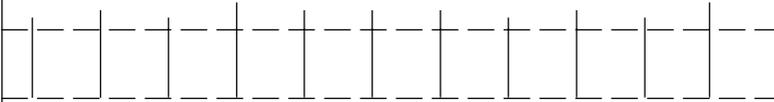
Вскоре мы окончательно запутались в этих мертвых осах, расческах, которые смотрелись так, как будто их тут побросали немногочисленные оставшиеся школьницы, и крабьих клешнях — на самом деле, я так и не поняла, что это было, потому что Мать Природа вечно меняет свое обличье. Все это валялось у нас под ногами. Как зубы дракона, что посеял Язон в мире, который теперь можно было бы назвать послечеловеческим миром.

Один из зубов зацепился за нитку на остатках кармана на моих джинсовых шортах. Карта едва не вывалилась на землю. Поэтому я и вспомнила, что у меня есть карта. А может, ее рисовали не люди, подумала я, потому что преступники — это не люди. И я стала рассматривать карту, чтобы понять, что из себя представляет этот послечеловеческий мир.

Фрагмент карты, на который я сейчас смотрю:

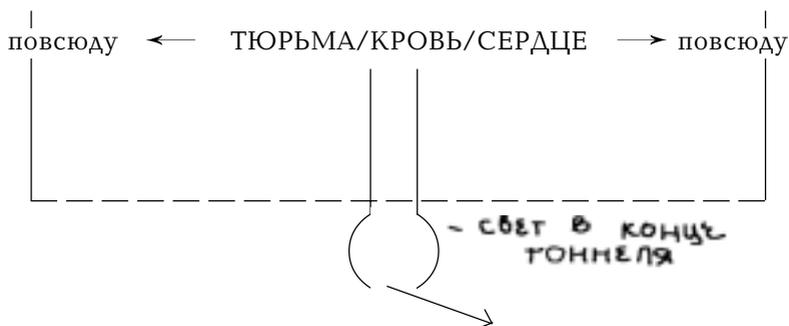
## Роман Джеймса Болдуина

В книге, внутри

цвета, каких я не видела в жизни густой, темно красный черного нет вообще
Следующий уровень повествования. Это тюрьма — замкнутое пространство сердца. Я нахожусь там, внутри. Там везде кровь.
 кровоток

<b>дверь в камеру.</b> дверь вздымается и падает. двери камер вздымаются и падают повсюду. На этом уровне, на третьем, каждая деталь мира преувеличена и усилена. <b>это присутствие сердца</b> — теперь я это знаю.

— Вот что значит быть черным в нашем дурацком обществе, — говорит Анж.

Мы вернулись к внутреннему содержанию карты:



Мне страшно, но в то же время, я в изумлении, и я никогда никому не расскажу, что здесь было.

Может быть, из-за того, что я только что видела, или, возможно, из-за того, что я не смогла описать увиденное, мы с Анж продолжали ползти вперед.

Нам показалось, что мы вернулись на морской пляж, где жили те люди, которые лазили во влагалище мертвой матери Анж. Рядом с серой поверхностью моря, где когда-то был корабль: был, а теперь умер. Мертвая птица — как все, кто спит и видит сны.

Когда мы дошли до края этого песка, мы увидели, что под нами — еще песок. Мы стояли на вершине скалы. Солнце только что село; морской ветерок шелестел листвой — там, чуть подалее, был лес. Свет исходил словно из ниоткуда.

Мы пошли дальше. В песке прятались кучи дерьма. Я наступила в такую кучу; говно забилося в резьбу на подошвах моих походных ботинок. Мне было противно на это смотреть, и я сказала Анж, что мне нужно в ванную. Срочно.

Я была жутко злая, что вошла в говно, и поэтому даже не сразу сообразила, что, пока я объясняю Анж, с какой радости мне вдруг приспичило в ванную, Анж уже стучится в какой-то дом. Маленький бревенчатый домик.

— Смотри, Анж, — сказала я, — дом.

Точно в таком же родился Эйб Линкольн. Вокруг дома валялись дохлые крабы.

Окон в доме не было, только отверстия наподобие бойниц, в тех местах, где дощечки прилегали друг к другу неплотно.

Анж, уже внутри, дивилась на странный пол, одни участки которого были выше других, причем, попадались такие высокие, что они едва не касались дощатого потолка, точно так же, как мы почти прикасаемся к Богу, а я мыла руки, а потом, очень тщательно — ноги. В металлической ванне, в большой умывальне для девочек-школьниц.

Потом я вспомнила, что говно забилося в резьбу у меня на подошвах. То есть, придется снимать ботинки. А мне не хотелось снимать ботинки — чтобы не испачкать в говне только что вымытые руки. Но я все же заставила себя их снять, так что я снова была, как ребенок.

А тем временем — в точности, как на карте, — приставная лестница поднималась из центра комнаты, примыкающей к ванной, и уводила наверх, в другую комнату.

Анж попыталась взобраться по этой лестнице, но у нее ничего не вышло.

Я тоже хотела попробовать. Уже сколько народу пыталось и уходило ни с чем, но для себя я решила твердо: у меня все получится.

Я упала.

Когда я снова полезла наверх, я поняла: чтобы добраться до той комнаты, что наверху, мне нужно что-то туда принести. *Что-то туда принести* означало *что-то отгать*. Но у меня не было ничего. Как в детстве. Потому что в детстве у меня ничего не было.

Но я все же полезла наверх.

Я уже добралась до середины лестницы и тут обнаружила, что дальше ступенек нет.

Мне больше не на что опереться.

Я двинулась дальше, подтягиваясь на руках.

Так я добралась до люка в потолке и даже пролезла в него до пояса, но люк был слишком узким, и я застряла.

Я поняла, что самой мне не справиться: кто-то должен втянуть меня в комнату.

В эту огромную комнату. Я в жизни не видела комнаты больше. Там было столько свободного места — пространства для наших с Анж игр.

Я услышала звук, сперва похожий на ветер.

Анж истошно кричала.

Я спрыгнула с лестницы и, протирая глаза, как ребенок со сна, бросилась к зеленоглазой девочке, к дырке в стене рядом с ней — к дырке, лежащей, какдохлая крыса, и пахшей девчонкой.

## ИСТИННЫЙ ЦВЕТ ПИРАТСТВА

Я заглянула туда, в эту дырку:

Разумеется, все дрянные девчонки собрались снаружи. Хотя я видела только двоих. Сильвер и ту мертвую девочку, Святую Деву.

Они ничего не делали. Просто слонялись туда-сюда. Может быть, незначай мастурбировали.

Было еще очень рано и очень тихо, так что утренний холод оставался по-прежнему зримым: белый и неподвижный, как время. Потому что во времени нет облаков. Девочка с золотистыми волосами и эта дрянная девчонка, чьи волосы были повсюду — рассыпаны в пространстве, как мусор, копившийся здесь годами, — брели по колено в густом млечном воздухе, который, наверное, был ядовитым, потому что иначе он просто не был бы таким белым.

— Не впускай ее в дом. Ее — значит себя, — сказала мне Анж.

— Я хочу заключить перемирие, — крикнула девочка с серебристыми волосами.

— Зачем перемирие? Чего тебе надо? — спросила я. — Уходи, или мы будем стрелять.

— Ну, понимаешь, я искренне убеждена, — как всегда, Сильвер говорила за всех, — что девчонки должны жить дружно и не драться, потому что они по натуре не склонны к насилию, и все мои девочки со мной согласны. А пиратство старо, как мир. Оно было всегда. Так что, может, пора прекратить эту нашу бессмысленную вражду? Почему ты не хочешь мириться?

— Я не знаю. — Но я тут же осадила себя. — Уходи, или мы будем стрелять.

— Еще одно слово, и я вышибу тебе мозги, — закричала Анж.

— Все люди разные, и девочкам незачем напрягаться на других девочек, не таких, как они, — чуть ли не умоляюще проговорила Сильвер. — И поэтому мы с девчонками решили объединиться с вами, пусть даже вы никогда не сидели в тюрьме и не занимались разбоем. Но долг есть долг, а долг девчонок — любить других девочек.

— И, вообще, все живое, — добавила Святая Дева. Она мастурбировала, так что моя подруга последовала ее примеру.

Я пнула зеленоглазую потаскушку ногой.

— О, — продолжала Сильвер, — мы с тобой были друзьями, и если ты что-то такое увидела или услышала, чего тебе видеть и слышать не стоило, ну... ты ж понимаешь, что я иногда напиваюсь не в меру. И все мои девочки — тоже. Это все потому, что мы живем в таком обществе, которое не уважает женщин и ненавидит женское тело. И особенно, когда женщина дронит. Вот почему мы так много пьем, хотя я понимаю, что это не самый удачный способ борьбы за свои права.

Анж уже почти достигла оргазма, и я пнула ее еще раз.

— Понимаешь, в чем дело, — девочка с серебристыми волосами, хотя после всего, через что мы прошли, они были уже не такими серебряными, как раньше, все еще говорила со мной, — девочкам надо выжить, любой ценой. А поскольку понятие *девочки* включает всех нас...

— Всех, кроме тебя, — вставила Святая Дева.

— ...нам нужны эти сокровища. Вот такие дела, подруга.

Вперед выступила самая грязная из девчонок. Даже грязнее, чем Сильвер. Со ступками дурной крови, что болтались, как хвосты дохлых крыс, у нее на бедрах.

Киска.

— Эти сокровища принадлежали пиратам, значит, забрать их должны пираты.

Она снова исчезла из виду — так же стремительно, как появилась.

— Да, вот такие дела, — повторила Сильвер. — Но карта ведь у тебя. Настоящая карта, да?

— Да, — ответила Анж, и я пнула ее уже по-настоящему.

— Она-то нам и нужна. Лично я не хочу убивать тебя, О. Ни тебя, ни твою маленькую подружку.

В первый раз я увидела этих девчонок-пиратов в их истинном цвете. У них было два цвета: черный и красный. Все, что было у них внутри, они выставляли наружу: они мазались собственной кровью. А кровь из сердца чернеет, когда попадает наружу.

Как та комната из романа Болдуина.

— В общем, план действий такой, — для себя Сильвер уже решила мою судьбу, — ты отдаешь мне эту карту, я забираю сокровища, а ты умираешь. Или, если тебя не устраивает этот естественный ход событий, присоединяйся к нам и становись пиратом.

— Говоришь, ты не хочешь меня убивать, а вот я бы тебя убила с большим удовольствием, — сказала я, хотя уже не замечала Сильвер, я вообще про нее забыла, потому что думала об этой карте с сокровищами, из-за которой все, собственно, и началось. Эта карта возникла из шкатулки мертвой матери Анж. То есть, она была спрятана где-то внутри, а потом вышла наружу. Как и сама Анж.

С тем Сильвер и исчезла, утащив Златовласку.

А вот моя мама меня не любила: она пыталась меня убить, но в итоге покончила с собой. Я прильнула к Анж — в этом мире, который теперь стал пустым. Там, в мире, не было никого, кроме нас, так что можно было уже не бояться, что кто-то нарушит пронзительную пустоту нашего игрушечного дома. Брат и сестра, мы крепко держались друг друга.

Это был новый мир.

Мы с Анж сидели, чего-то ждали. Потому что теперь мы уже не искали игрушечный дом. Мы ждали так долго, что все время вышло. Время уже пропустило свой час рождения и теперь собиралось пробиться сквозь последнюю слизистую мембрану, и это приподнявшееся рождение — или начало — мира обострило все наши чувства: зрение, слух, обоняние. Обоняние — особенно, потому что теперь у нас здорово получалось вынюхивать скунсов, дохлую рыбу и крабов, три вида животных, обитавших на этом острове.

— Где-то рядом — пираты, — сказала Анж.

Я не спросила, где именно.

Мир еще не начался.

Мы с Анж принялись обсуждать, правильно это или нет — убивать пиратов, как будто наши слова, уже сказанные или только готовые прозвучать, могли бы что-то изменить: и в том, что уже происходит, и в том, что еще только произойдет.

А потом мир начался.

Нет предела коварству и злобе девчонок.

Они появились все разом, пираты.

Поля были цвета сирени, все в мелких цветочках. Потом — животные, крошечные меховые комочки, серые пятна в траве, ушки торчком. Каждая мордочка, что высовывалась из травы, была как оргазм.

Крыса обнюхивала себя, тычась носом себе под лапки. «Фф, — сопела она. — Фф, фф». Наверное, крыса считала себя собакой, потому что она вынюхивала и высматривала слова или хотя бы возможность облечь свои мысли в слова: «Идите сюда! Все сюда! Что-то тут странное происходит! Вон там, сбоку!»

А сбоку неспешно катились бревна. Такой массовый исход бревен. Нисхождение в глубины ада.

Бревна катились вниз, туда, где была река и участки темной земли — бревна катились повсюду. Пока девчонки-пираты стреляли в нас, и кровь хлестала из ран.

Ручьи разделили всю землю.

Девчонки тоже убивают. Пират по имени Киска, самая злая и подлая из всех пиратов, подлетела к Анж,хватила у нее пистолет, который зеленоглазая девочка нашла в доме, швырнула его своей шайке, и он упал в кучу крысиного дерьма. Но девчонкам-пиратам было плевать, что они по уши вымазались в говне. Они привыкли к дурному запаху. Любовница Остракизм уложила Анж одним ударом.

Удар получился действительно сногшибательным.

— Узнаю ли я ее снова, поэзию? — я взглянула на Анж, что лежала без чувств. — Орфей так и не понял жестокости *красного*. Все, что сейчас происходит — это уведомление о будущей смерти. О будущем смерти. — Все мотоциклы летели в смерть; содрогаясь в оргазме, они тихо плакали от радости, и слезы преображали их лица.

Король Киска, которая была крысой, вышла вперед и встала перед своей шайкой злобных девчонок, отчаянных и бесшабашных, но теперь изрядно помятых пиратов.

— Я, король Киска, которая видит явь через сны, я видела войны! Погибель! Увечья! Я видела, как умирают девчонки, зверски замученные до смерти! К чертям все мои сны! Теперь мне все видится по-другому!

В прежние времена, — объяснила король Киска, объявляя войну, — девчонок, которые ничего никому не сделали, обзывали плохими словами и били палками.

— Но теперь мы объявляем войну! Мы уничтожим О с Анж, и все сокровища будут наши! Потому что они и так наши, по праву! Они наши, девчонки!

Нам с Анж — хотя она и лежала без чувств, — уже чудилось, как наши отрезанные руки-ноги простираются над всеми дождливыми темными четвергами, четвергами, которые скоро умрут. Четверг — это вечная осень. Четверг — день смерти, потому что девчонки уже надевают костюмы земли и костюмы дерьма, зарывшись в истлевшие кости мертвых, они с хрустом вгрызаются в эти кости, кости, слепленные из дерьма.

Если тебя избивают, это всегда происходит в четверг...

Пираты выиграли войну.

А потом сон протянулся до самого озера.

Пираты отступили. На время. Я попробовала затащить Анж вверх по лестнице, потому что знала: в этой комнате, наверху, мы с ней будем в безопасности, — но ступеньки обрывались и падали буквально у меня под ногами. Так что я отнесла Анж за лестницу, в небольшой закуток, скрытый лестницей. И плотно прикрыла дверь, чтобы нас не было видно.

Если как следует спрятаться, быть может, мы не умрем.

— Где, бля, эти девчонки? — спросила Гнилой Поцелуй, грязная, как шелудивый пес. Потому что ее засосы назывались *лобзанием розы*.

— Я, король Киска, которая видит явь через сны...

Королю Киске пришлось мастурбировать, чтобы увидеть вот эту явь:

— Я вижу двух девочек, очень смутно, они как будто теряют энергию и растворяются в воздухе, на последнем издыхании, их

почти и не видно. Одна, та, у которой есть волосы, сидит на корточках на полу. Вторая — рядом с ней, на коленях.

— На полу?

— Стены движутся. Я уже не могу сказать — потому что *сказать* значит *вспомнить* — где. Это как будто идешь по каким-то узким коридорам, где все сдвигается с каждым новым поворотом, и где-то есть щель, и сквозь нее видно...

— И все, что ты можешь, это смотреть сквозь щель?

— И как сквозь нее смотреть?

Киска:

— Узкая, вертикальная щель. Сквозь которую эти две девочки...

— А что там видно?

— ... они сидят в комнате. Одна из них положила руку другой на лицо — той, что сидит на корточках, — и трет ей щеку, а у той дрожат бедра, потому что она кончает, и я тоже кончаю, мне так приятно и хорошо, они ложатся на пол, обе — на спину... пол деревянный... и им хочется потеряться о него задницами.

— Теперь одна забирается на другую, а та широко раздвигает ноги, о, Господи, О.

Кто-то из пиратов уже жадно смотрит сквозь эту дырку.

— И где же они, эти мелкие шлюшки? — спрашивает грязная девка с отрезанными ушами.

— Где-то там, сзади. Сзади, слева или справа, какая разница, блядь, я снова кончаю, сейчас я скажу вам, куда я кончаю, куда я иду, туда, где свет... ой, мамочки... черный.

— Слушай, Киска, заткнись, — сказала девчонка, которой давным-давно откусили язык. Обычно она вообще ничего не говорила, ни единого слова.

В красном свете факела, озарявшем почти весь дом, я увидела, что девчонки-пираты пришли и заняли мой дом. Сильвер и ее проклятая подруга, Святая Дева, встали прямо передо мной.

А у них за спиной толпился весь этот отпетый пиратский сброд, в красном адском свечении, в черной ночи, которая полностью принадлежала им.

Как только Сильвер заполучила меня обратно, она схватила меня за волосы — за те жалкие, тонкие прядки, что еще оставались, — дернула, отогнула мне голову и принялась шарить по мне рукой.

## КОНЕЦ ВСЕХ СНОВ

Когда девчонки-пираты завязали мне глаза, мне стало по-настоящему страшно. Я боялась их всех и каждую по отдельности — боялась того, что они со мной сделают, потому что я знала, что они обязательно что-нибудь сделают.

То, что они со мной сделают — это мой страх.

Звери были повсюду. Самые разные звери, а не только волкодавы, которые лаяли, словно взбесившись, и птицы.

Чьи-то руки толкали меня вперед — мы уже не стояли на месте, — чьи-то руки тянули меня куда-то.

Роза, да, да, роза, о, долгожданное утешение. Розы там, впереди, все розы — живые.

— Я не хочу с завязанными глазами, — сказала я. Шипы роз впивались мне в кожу, держали меня, не давая идти вперед.

Собаки все лаяли. Птицы и ящерицы.

— Мы можем бросить тебя умирать.

— Да, давайте оставим ее, и пусть птицы выклюют ей пизду.

— Я хочу кушать, — сказала другая девчонка.

— А, может, скормим ее твоим псам, а, МД?

Но звери были повсюду, самые разные звери. Я уже не различала, где Анж — среди этих зверей.

Сегодня все звери — один-единственный зверь, шепнула я себе. Огромный рычащий медведь, который хватает все и прижимает к груди, круша и ломая.

— Хочу, хочу, хочу, — рычит медведь, и просто делает то, что хочет. Потому что это самец.

— Ррр, ррр, ррр, — что означает *гай мне*. У медведя — большой и шершавый язык. Так что я почти мгновенно кончаю, когда он лижет, о Господи, лижет медвяных пчел. Сейчас я умру, кончая. Истекая наружу и внутрь, а внутри все — поля, потому что там все перемешано, взболтано, вспенено.

Медведь ушел к розам, потому что медведи и розы никогда не бывают одновременно.

Девчонки-пираты вели меня вниз по склону.

Мы спустились куда-то вниз. Я сказала себе: Да, они способны на все. Медведь уселся на розы огромной мохнатой задницей. Розы расплющились в кашлицу. Но медведю не было дела до смятых, раз-

давленных роз: собственно, это и есть оргазм. Когда тонкая кожица в заднем проходе, внутри, расцветает, как роза, и выходит наружу.

О нет, так нельзя, я не должна этого делать... изливаться наружу; тонкая кожица в заднем проходе выходит наружу; но если это оргазм, тогда все нормально.

Рычащий медведь — продолжала я, потому что забыла, и где я, и что происходит, — засунул дилдо себе в пизду. Кто-нибудь на меня смотрит? — думает он. А если кто-нибудь смотрит, волнует это меня или нет?

— Да! Да! Да! — кричит медведь, потому что теперь ему больше не нужно ничего делать. Потому что оргазм уже есть. В глубине.

Но рычащий медведь еще не добрался до глубины. Он движется к центру, но центр пока недосыгаем. Рычащий медведь — он сейчас там, где все кружится и вращается: преобразается. Напряжение естества и оргазма, что содрогаются в судорогах преобразования. Там, где властвует дождь розовых лепестков.

Я снова чувствую запах моря, где рыбы гниют с каждым часом все больше и больше.

Мне развязали глаза. Зрительное восприятие изменилось. При свете, который был тьмой, и в темноте, что была светом, пираты склонились над картой. Мне незачем было смотреть, чтобы знать, что они там видят.

Там будет надпись: *конец всех снов...* И будут тропинки, которые переплетаются — не распутать, и кости, сваленные в беспорядке — не разобрать, тропинки и кости — все перемешано, а потом будет высокое дерево. Красное дерево, если верить карте.

А чуть в стороне — лодка у черного камня. И у белого камня.

— Вот туда мы и пойдём. — МД подступила ко мне вплотную в сопровождении своих волкодавов и показала на плато. Там, на плато, росли деревья, и среди них было одно — высоченное. Такое высокое, что, казалось, оно дотянулось до самого неба. Прямо передо мной была якорная стоянка и два камня: черный и белый. МД поцеловала пса, который слева.

Пираты так рвались искать сокровища, что даже забыли про нас: про меня и Анж.

Мы все поднялись на плато, и чем выше мы поднимались, тем больше земля раскрывалась нам навстречу.

Пока пейзаж не превратился в сплошные горы и тучную почву. Линия на стыке земли и неба была ярко-красной.

Теперь, когда подъем сделался круче, все цвета изменились, потому что цвета — это первичное проявление мира. Солнце сделалось красным, и крылья птиц. Потому что зеленый — цвет смерти. Желтые поля распирало, как будто они сейчас лопнут.

— Спасибо, маленькие человечки, — кричали пираты. — Выходите наружу, откройте нам землю, мы ищем сокровища. — Все было красным. Кругом — созревшие вишни. Теперь надо было спуститься вниз, где все — коричневое, войти в пространство, растянувшееся в бесконечность, и сделать дело, которое обжигало.

Там, наверху, все горело и все сверкало. Там, где пространство растягивалось и одновременно жестоко сжималось.

Любая звезда — это сжатие и взрыв, когда рвешься добыть сокровища.

Нам еще надо было найти тот лес, что на карте, и воду цвета сирени, чтобы то, что лежало внутри, сокровище, могло обнаружиться, то есть выйти наружу. Чтобы сознание, или поверхность, потому что сознание — это все, что есть, могло померкнуть и отключиться. Чтобы потеря сознания стала притворством, уловкой.

Как только сокровища обнаружатся, все, что внутри, вывернется наизнанку и будет так выворачиваться бесконечно. С другой стороны, каждый новый виток будет спокойней и жестче, чем предыдущий. И все это вместе будет называться лес.

Мы добрались до леса. Девчонки-пираты точно взбесились: они метались в поисках выпивки — в общем, делали все, что обычно делают девчонки-пираты, независимо от того, что им следует делать.

Самая младшая из пиратов, Черная Мария, от которой никто не слышал ни единого слова, ни звука, вдруг закричала от ужаса.

— Я вижу сокровища, — кричит король Киска, потому что она — та, кто видит, но у меня с глаз уже сняли повязку, и тем, что Киска приняла за сокровища, оказался мертвый пират.

Что лишний раз подтверждает, что мертвый пират — все-таки лучше, чем совсем ничего.

Киска, которая жила снами, не хотела и не могла поверить, что там нет сокровищ, и она приподняла руку трупа, потом — бедро, как будто среди этих костей что-то было или могло быть. Волкодавьи МД тоже рылись в истлевших костях. Девчонки принялись

обнюхивать друг друга. Они разбросали все кости, а потом объявили, что пираты уже никому не нужны, и пиратские сказки — тоже, и царствие всех царств теперь может закончиться.

Антигона решила отпраздновать этот день, но поскольку выпивки у них не было — кроме перебродившей крысиной мочи, которую можно, конечно, считать за пьянящий напиток, но только с очень большой натяжкой, — она просто сменила имя и назвалась Анжеликой. Анжелика, объяснила она, была шлюхой, но теперь она больше не шлюха, потому что общается с ангелами. Ангелы — это больше, чем люди.

Мы с Анж по-прежнему были пленницами этих девчонок, и нам не разрешали говорить друг с другом. А нам хотелось сбежать и быть вместе.

— Видите этот скелет? — Анж указала куда-то в угол этого старого кладбища, пронизанного перепутанными тропинками, кладбища, где лежали пираты.

Она якобы обращалась к пиратам, чтобы никто не подумал, что она разговаривает со мной, но ее никто не услышал, а если даже услышал, то не обратил внимания.

Этот скелет был гораздо крупнее всех остальных. Его ноги указывали в одну сторону, а член — тонкая косточка — в прямо противоположную.

— Мне нужно взглянуть на карту, — добавила Анж.

Сильвер трахала Деву, так что зеленоглазая девочка просто забрала у нее карту и все.

— Смотри. — Анж. — Этот покойник — компас. А на карте написано, что лабиринт начинается с ВЮВ и на В, то есть, с востока — юго-востока и на восток. Наверное, это была их последняя шутка, тех ребят, что составили карту. ВЮВ и на В — это здесь. Его мертвый член указывает на сокровища, О.

Я посмотрела на карту, потом — на скелет с костяным членом. Теперь я поняла, почему всю жизнь искала мужиков. И не успокоилась, пока не нашла того единственного, настоящего, на всю жизнь. Девчонки-пираты настолько ушли в свой мир, что уже ничего не замечали; и они не заметили, что небо и мир — тот который снаружи, — опять изменились.

Мы с Анж пошли в направлении, указанном членом.

Мы говорили о том, что вот человек давно умер, а его член продолжает жить...

Члены сами по себе — не сокровища, но они указывают на сокровища. Как сказала мне Анж.

И мы ушли, оставив девочнок-пиратов заниматься своими делами — чем там обычно они занимаются, эти девчонки.

По дороге к сокровищам, на которые указал нам член, я рассказала Анж одну историю. Историю про сокровища:

— Эту историю придумал один поэт.

— Желая отомстить человеку по имени Прометей, который оппорил верховную власть богов, Бог-Отец, который тогда звался Зевс, создал прекрасную женщину. Прекраснее не было в целом мире. Зевс собирался отдать ее Прометею.

То есть, сперва он послал ее прометееву брату, но тот уже знал, что дары от богов принимать нельзя. Прометей его предупредил.

Зевс разъярился пуще прежнего и приковал Прометея к каменному столбу на вершине горы, в самом холодном краю на свете. Каждый день на вершину горы прилетал хищный гриф и терзал Прометею печень, а на следующий день печень опять была целой, чтобы гриф мог кромсать ее снова и снова. И вот тогда Прометей и сказал: «Боль — бесконечна».

Брат Прометея едва не рехнулся от страха и с перепугу всади Пандоре, которая была невероятно красивой, а значит — глупой, стервозной и лживой. Той еще сукой, иными словами.

Все это происходило в золотом веке, в самом начале мира, когда люди не знали страдания. Но источник страдания уже был: он таился в пизде.

Когда мужчина, который не смог устоять перед женской красотой, открыл пизду Пандоры, ее злобные выделения излились в мир. Мир провонял распаленной пиздой. И каждый, кто чувствовал этот запах — каждый мужчина, — хотел умереть и умирал, если только не мог избавиться от погибельной тяги к тому, что лежит внутри женского естества.

— Собственно, это и есть сокровище, — закончила я.

— Зачем ты так говоришь?! Разве можно так говорить?! Я думала, ты меня любишь.

— Но не я же придумала эту историю про пизду. Ее рассказал старый мертвый поэт, а я просто ее пересказываю.

Мертвый член уже не указывал нам дорогу, потому что мы вернулись к воде, на пляж. И там, в крошечной бухточке среди скал, чуть выше по склону был вход в пещеру.

— Анж, — сказала я и взяла ее за руку.

Мы вошли туда вместе.

Там уже не было никаких пиратов. Впрочем, пусть бы и были — мне было уже все равно.

Мы вошли в пещеру. Она была просторна и полна свежего воздуха. Из-под земли пробивался источник чистой воды и втекал в небольшое озеро, окаймленное густыми папоротниками. Пол был песчаный. А в дальнем углу тускло сияла громадная груда золотых монет и слитков, истекавших из деревянного сундучка. Это и были сокровища — те самые, ради которых мы проделали такой длинный путь, ради которых вынесли столько боли. А скольких человеческих жизней, скольких страданий и крови стоило собрать эти богатства! Сколько было потоплено славных судов, залитых кровью и заваленных выпущенными кишками, сколько замучено храбрых людей, которым завязывали глаза и заставляли идти по доске! Какая пальба из орудий, сколько лжи и жестокости! Никто не скажет. Никто не знает. Знают лишь мертвые, но они молчат.

Но на острове еще оставались люди, которые некогда принимали участие во всех этих ужасных злодеяниях и тоже надеялись получить свою долю богатства.

— Войди, — сказала я Сильвер.

— Я исполняю свой долг, — сказала Сильвер. — Это и наши сокровища тоже. — Она вошла в пещеру, а следом за ней вошла король Киска.

Мы все смотрели на золото.

— Я лучше снова пойду пиратствовать, — сказала Сильвер. — Если мы с девочками заберем эти сокровища, власть девчонок-пиратов на этом закончится, а я не могу этого допустить.

Король Киска смотрела на море.

Я все поняла, и наблюдала, объятая благоговейным трепетом, как эти девчонки выходят из нашей пещеры.

Мы с Анж собрали все деньги, которые только смогли унести, и вернулись к шлюпке, спрятанной между двумя камнями, черным и белым.

### **Молитва за всех, кто в море**

Зимородки больше не будут охотиться на рыбешек,  
ядовитые листья станут нам пищей  
пусть моряки потеряют последнюю совесть,  
потому что теперь у нас губы в кровище.









